

# Даугава

**В НОМЕРЕ:**

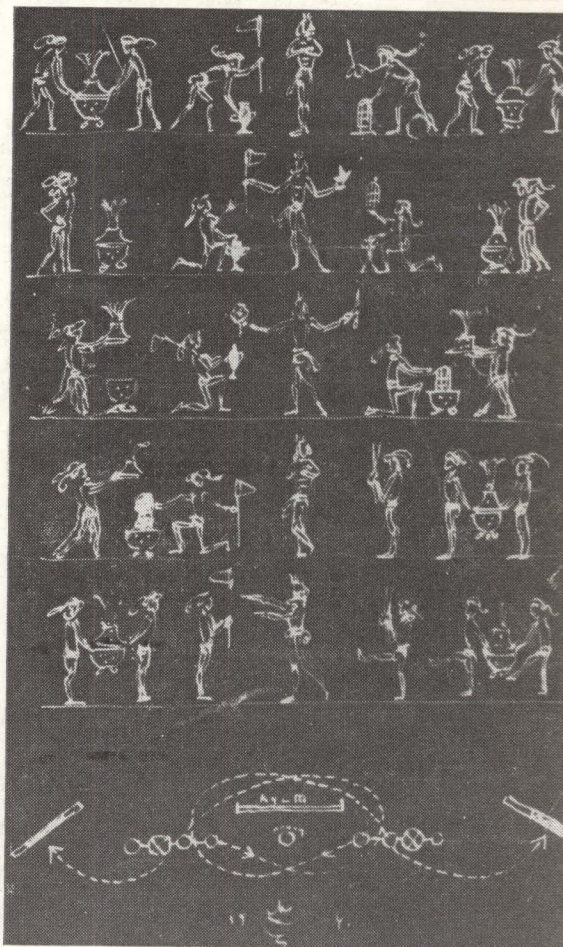
Стихи  
Яниса  
Петерса

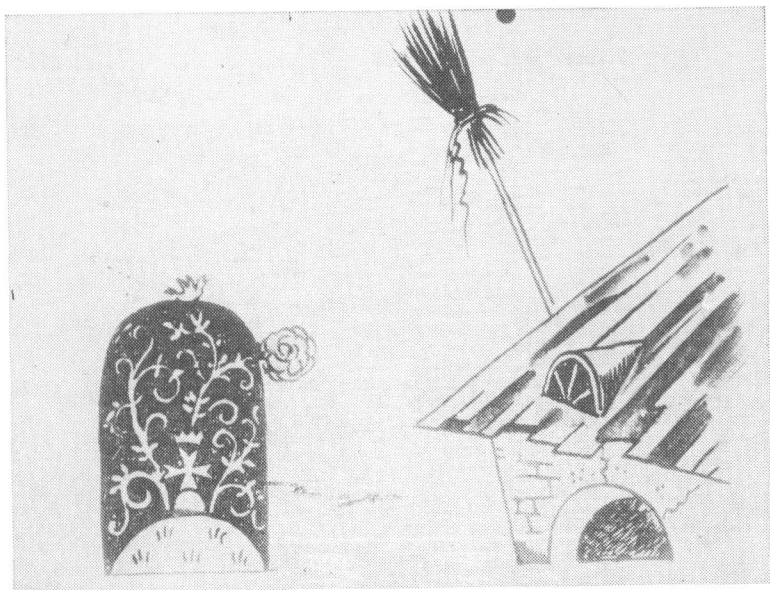
Е. ГИНЗБУРГ  
Крутой  
маршрут

Возвращение  
Зенты  
Маурини

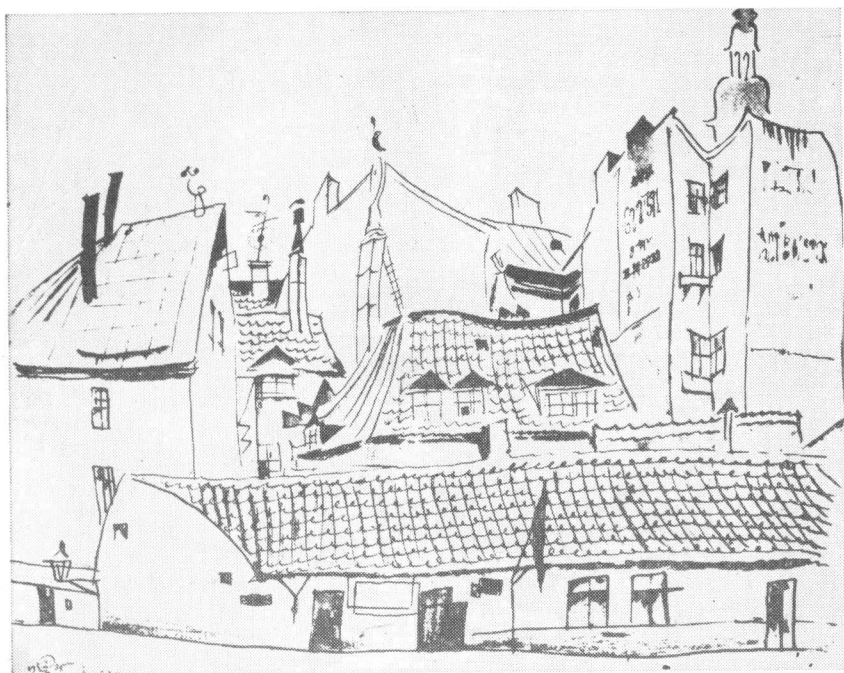
Добужинский  
в Риге

1988  
8





Эскиз декораций к постановке «Сказки Андерсена». Рига, 1924 год



Рига, 9 сентября 1925 года

Фото Роланда Фогта

# Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

8  
(134)

АВГУСТ  
1988

## В НОМЕРЕ:

### Проза и поэзия

ПЕТЕРС Я. Тема со свечой. Стихи	3
ГИНЗБУРГ Е. Крутой маршрут. Продолжение	9
ЕЛИЗАРОВА В. В зеленом тереме земля. Стихи и переводы	65
СНИПС А. Пигмаллон и Галатея. Тютя купит корову. Рассказы.	68

### Кафедра

НИКИФОРОВИЧ Г. В должности Вольтера	87
-------------------------------------	----

### Культурология

СОКОЛОВА И. «Держать — прекрасно!»	91
ПРИЕДИТИС А. На высотах метафизической культурологии	97
МАУРИНЯ З. Ложные пути преодоления скуки. Трагедия малых народов	103

### Гостиная «Даугавы»

ПОЛОЦК И. Дональд Ван Атта: «Безработица мне не грозит...»	109
---	-----

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК КП ЛАТВИИ.  
РИГА

(см. на обороте)

**В НОМЕРЕ (окончание):**

**Memoria**

<b>ТИМЕНЧИК Р. Добужинский в Риге</b>	<b>114</b>
<b>КЛИМОВ Е. Добужинский</b>	<b>122</b>
<b>Почта «Даугавы»</b>	<b>126</b>

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

---

**Главный редактор**

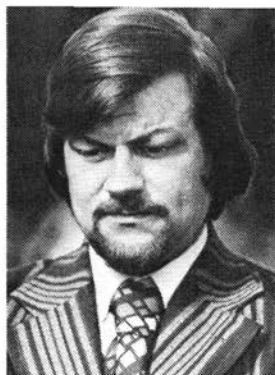
**Владлен ДОЗОРЦЕВ**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

**Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам главного редактора)**

**РЕДАКЦИЯ**

**Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ**



## ТЕМА СО СВЕЧОЙ

Перевела Ирина ЧЕРЕВИЧНИК

### ПАМЯТИ

Я начался, чтоб быть всегда.

Но в багреце венков беда —  
убийцы  
черным кулаком.

(Бог, мать рыдает над венком!)

Как скорбны над рекой ветра!  
Как под водой  
скала остра!

Чтоб мы смеяться  
не могли,  
стон вырвался  
из губ земли.

Как злобна молния, влача  
в свой воз рукою палача  
и пламя плачущих свечей,  
и пепел высохших очей.

Я родился, чтоб жить в веках.

В багровых траурных венках.

### ЧИТАЯ ПИСЬМО О ТОМ, КАК УМИРАЛ ИЗДАТЕЛЬ ЯНИС РОЗЕ

Ты живи, и когда умираешь,  
ты пиши, и закончив стихи,  
ведь дыханье твое в этом крае  
еще греет полярные мхи,

и над ним еще сиверко кружит,  
и под ним — мерзлоты забытье,  
и свиные крылья от стужи  
укрывают дыханье твое.

Янис ПЕТЕРС — латышский поэт, публицист, эссеист, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Латвии, лауреат премии им. Ояrsa Вацпетиса — родился в 1939 г. в Приенуле. Работал в Лиепайском театре рабочим сцены и помощником режиссера, сотрудничал в газетах «Ленина цельш», «Циня», журнале «Звайгзне», был консультантом ре. Ферентом СП Латвии, с 1984 г. — председателем правления СП Латвии.

Изданы книги стихов: «Жернова» (1968), «Зверобой» (1970), «Мой улей» (1973), «Четвертая книга» (1975), «Предчувствия» (1978), «Ремонт будильников» (1980), «Кузнец нует на небе» (1981), «Перепись населения» (1984), книгу стихов для детей «Гална в хоре» (1988); в переводе на русский язык: «Жернова» (1977), «Мой улей» (1978), «Из камня и огня» (198).

В 1982 г. Я. Петерс издал книгу «Раймонд Паулс», в 198 г. книга вышла в русском переводе.

Стихи Я. Петерса переводились на русский, украинский, литовский, английский, немецкий, итальянский и другие языки народов СССР и зарубежных стран.

Широноизвестны песни Я. Петерса, созданные в сотрудничестве с Р. Паулсом и другими латышскими композиторами.

Твою душу у снежного праха  
отниму, чтоб однажды вдохнуть  
в свое тело под смертной рубахой  
и в планеты бессмертную грудь.

## ЧАС СТРЕЛКОВ

Это час стрелков. Наш час всеобщий.  
Но не слишком поздний ли рассвет?  
Наши срубленные сосны, Эйхе,  
перебили вновь тебе хребет.

Все вершилось волей. Хоть не Божьей,  
но не ниже — волею Отца...  
Час стрелков, суровый час народов,  
осени нас, освяти сердца!

Так уж повелось — ломает ветер  
ту сосну, что выше и видней.  
Век стрелкам принес не только славу,  
он Иуду дал впридачу к ней

Где теперь шумят хлеба и кедры,  
сердце камнем падает в овраг —  
с кровью вырван из души народа  
Линард Лайцен, Янис Рудзутак,

Янис Пахарь и Рабочий Янис,  
ну и просто Янка. Парни те  
шли на бой за равенство и братство,  
верили свободе и мечте.

Где теперь шумят хлеба и кедры,  
в перегное кости их белы —  
разорвавших барские оковы  
и самих одели в кандалы.

Это час не только покаянья  
и не только памяти о вас,  
этот час стрелков, наш час всеобщий —  
он и вечного проклятья час.

Не просит Иуда их отваги,  
не простит он поступи стрелков,  
и в сраженьях — Праздника их песни,  
и во ржи их синих васильков.

Делает историю Иуда,  
делает он в ней свои дела,  
чтоб она была такой, как надо, —  
не такой, какой она была.

Час стрелков — не только покаянье,  
это — все столетье в час длиной  
со своим величием и проклятьем,  
со своею славой и виной.

Будут биться слава и проклятье —  
вся история — одна борьба.  
Что ты скажешь, Янис, если снова  
протрубит военная труба?

Вся история — одно мгновенье,  
и его труба трубит приказ,  
выдаст орден или гроб из цинка,  
или просто не запомнит нас.

Если все же моему народу  
будет суждено уйти с земли,  
мы уйдем с сознанием, что отдали  
Революции все, что могли.

## **СТРАННИК**

Колокольчик взмок от звона,  
солнце пряло пряжу,  
только аист утомленный  
и не глянул даже.

У него еще от лета  
не остыли крылья.  
Пастухи в ложбине воду  
на коленях пили.

Съели с красных лоз бараны  
всю весну в округе,  
а мужчины утром рано  
превратились в плуги.

В кофтах ситцевых степенно  
жены шли к мужчинам.  
Жгла черемушную пеной  
брага из кувшина.

Притащил на коромысле  
шмель росу из леса.  
Над просторами повисли  
звуки майской мессы.

Только странник брел бессильно  
по земле весенней.  
Пастухи молились крыльям,  
стоя на коленях.

## **В ШКОЛЕ**

В класс вошел учитель истории  
с каменным топором  
под мышкой.

Про каменный век  
он знал все,  
до последнего  
камешка.

Каменным топором  
нарубил дров  
и разжег костер  
посреди класса.

Все грелись  
в каменном веке.

Вскоре за каменным веком  
в Латвии  
наступил  
тысяча девятьсот  
сороковой  
год.

Учитель взял  
и окаменел. .

Окаменил Латвию.

Велел раскрыть  
учебник истории,  
где весело потрескивали  
нарядные  
огоньки слов —  
без всякой езды в лес  
и рубки деревьев.

Дрова своим ходом  
пришли из леса,  
сами нарубились  
и  
полезли в печь.

Школьники  
выкрасили волосы  
в зеленый цвет  
и ждали  
Дней искусства.

Когда они наступили,  
весь восьмой «Ц»  
на Домской площади  
сердечно поблагодарил  
учебник истории  
за счастливое детство  
и вписал  
яркую страницу  
в историю  
Латвии,  
от всей души  
катая милиционера  
в детской коляске. (Факт.)

## **ДАВАЙТЕ НЕ СМЕШИВАТЬ СЛЕЗЫ —**

есть же разница  
между молодчиком из «Перконкруста»<sup>1</sup>  
и наркомом просвещения  
писателем Юлием Лацисом,  
хоть выслали их в одном телячьем вагоне  
и в одном направлении.

---

<sup>1</sup> «Перконкруст» — крайне правая организация  
в буржуазной Латвии.



Не надо затыкать истории глотку,  
но и делать ее проституткой не надо —  
я не отдам  
свой памятник Свободе  
спекулянтам и скупщикам слез —  
я знаю, что такое моя свобода  
и какой ценой  
за нее заплатили.

Мать-Латвию я не отдам  
никому  
и не позволю ее называть  
архитектоническим образом,  
как это делают на Братском кладбище  
латвийские репортеры.

И разве мы в праздник приходим  
к архитектурному образу Ленина?  
Не слышал, чтобы так говорили.

От дистиллированной стерильной речи  
может вымереть целый народ  
и очутиться на стенде в музее,  
как в гербарии —  
бабочка  
с научно обоснованными крыльями.

Мать — это мать.  
Мать-Латвия — это мать-Латвия.

Ленин — это Ленин.

А мой отец Янис на кладбище в Лиенае —  
это мой отец,  
и мы поставили ему и нашей матери Зелме  
небольшой памятник,  
а не архитектурный образ.

А может, репортеры Латвии боятся своей  
Матери?

Страх — тоже памятник эпохи,  
страх — тоже не архитектурный образ.

Так давайте не смешивать слезы  
и не смешивать страх —  
есть же разница между ловким редакторишкой  
и Оярсом Вацетисом,  
хотя они говорят на одном языке  
и в одном направлении.

Все, что я тут пишу,  
происходит у подножья  
одного и того же  
памятника Свободе,  
купленной кровью,  
и насажденной свободой

перконкрустовца и сталиниста.  
Свободы Юлия Лациса  
и Оярса Вацетиса.

## ИЮНЬСКАЯ БАЛЛАДА

Принимает памятник букеты,  
и мои цветы к нему легли —  
к вечному покою, к вечной боли  
крестного пути людей земли.

В пламени одном сгорали судьбы,  
серой мглою небо залепил  
пепел русских, латышей, евреев,  
чехов и голландцев . . .

Саласпилс.

Знаю я и лагеря иные.  
Высылку. Вражду. Войну и смерть.  
На кресты порублены березы,  
поседела памятника медь.

Памятник, держись, мужайся, помни —  
ты стоишь на мостовой седой.  
Это Рига. Пятый год. Две бойни.  
И стрелок, как утро, молодой.

Господи, благослови, коль можешь,  
Латвию и всю планету враз!  
Я же верю лишь людскому поту,  
что века благословляют нас.

Вдаль смотрю — всего у нас в избытке —  
и могил, и плача, и сирот . . .  
Только колыбелей не хватает,  
с будущим связующих народ.

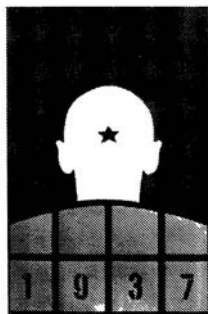
И когда цветы мы возлагаем,  
к нам летит метель издалека —  
задают грядущему загадку  
павших душ белейшие снега.

Только тот, кто чист душой и сердцем,  
вправе взвесить этот тяжкий путь.  
Латвию благослови, работа,  
и сама благословенна будь!

## ТЕМА СО СВЕЧОЙ

Все, что ты понял, по жизни шагая,  
все, что скопилось на сердце,  
свечкой зажги, чтобы свечка другая  
рядом могла загореться.  
Держим мы свечи. И что нам за дело,  
кто был у первых свечей . . .  
Но и задолго до нас тут горело  
пламя куда горячее.  
Алая-свечка и Лиелварде-свечка  
и между них величаво  
светит над нашими жизнями вечно  
белый огонь Таденавы.  
Крогземис светит, и Пумпурс нас будит,  
Райниса пламень горит.  
Это зовется тревогой и бунтом,  
светом, рожденным внутри.  
Что нам еще? — Разгорается ясно  
свечек горячее пламя.  
Нужно немного — чтоб не угасло  
все, что осознано нами.

# КРУТОЙ МАРШРУТ



## Хроника времен культа личности

Глава восемнадцатая

### ОЧНЫЕ СТАВКИ

Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился с ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше шести утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставляла койки уже подвешенными к стене и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке, положив голову на Лямино плечо, съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь камерный сахар, в количестве шести пиле-ных кусочков) — все это немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаз. «Спать днем нельзя», — разъяснялось мне.

В эти дни мы узнали от Гаряя о смерти Орджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он получал информацию сидя в одиночке, но уже в 1956 году, после XX съезда партии, после реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся докладе Хрущева ту же историю смерти Орджоникидзе, которую узнала в 37-м в стенной телеграмме Гаряя.

...Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни ельшинского варианта о «беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией», ни веверсской стряпни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома.

Не хочу становиться на геройские или мученические котурны. Я далека от мысли объяснять свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо особым мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук подписали все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала широкого применения «особых методов». Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество — чистая совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал в «сеть Люцифера».

Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердечные признания», руководители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бикчентаеву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов переливания из пустого в порожнее Бикчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это сообщение заинтересовало и взволновало, хотя вообще-то ко всем заявлениям «индюшонка» можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонными аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка, из которой глупость сочилась, как жир из баранины.

Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно такое же «переследствие», как у Гаряя. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя, но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу!

Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бикчентаева, был не Эльвов. Это был литсотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала.

Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех этих недоумений, я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты», они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно видеть такое близкое лицо. И, прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки:

— Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее...

Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему его свидетелю! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».

— Порядок очной ставки такой, — разъясняет Бикчентаев, немилосердно коверкая русские слова, — я задаю «вопрос».

На него сначала отвечает «свидетил» Дьяконов, потом обвиняемая...

Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным Г.

— Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?

Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.

— Обвиняемая! (У него получается «авиняема».) Прекратите оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя, как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.

Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо вытесняет мысль о фарсе. Он изжелтабледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях, он лепечет:

— Я-я-я... Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.

— Свидетель Дьяконов, — торжественно возглашает Бикчентаев, — вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?

Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит.

— Это... это... Я, собственно, говорил, что те люди, о которых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю.

Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне.

— А вы подтверждаете это?

— Что же тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции... О подпольшине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.

Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции «Красной Татарии» существовала подпольная контрреволюционная группа». Потом подсовывает листок Володе.

— На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!

Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.

— Володя, — мягко говорю я, — ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете столько людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.

Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.

— Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас

сейчас в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь отзываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.

И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали. Потом еле слышно шепчет:

— Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.

— А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут вписали?

Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается «снижение плана». Я добавляю:

— Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа, и не сообщали о ней, куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34-го до 37-го года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!

Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.

Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте...

Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей и писавшей Нальки было — Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»! И вот она тоже, вслед за Володи Дьяконовым, пришла сюда, чтобы помочь моим палачам.

У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «Все погибло: свобода мира и личное счастье»... А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.

Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится так нервничать, как со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает та-

кие четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером.

Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа.

Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать.

— Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела такие же и в студенческие годы?

И моя подружка Налька — милая, смешная, богемистая Наташа Козлете, отчеканивает как по писаному:

— Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего их связывало политическое единомыслие.

Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»

Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:

— Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма-пера! Ты что, рехнулась?

Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:

— Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бердникова.

Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особенно страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного «репрессированного» имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.

— Попробуй, — прошипела я, — тогда я сейчас же меняю свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу — я сама завербовала ее...

В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка.

— На каком языке вы оказываете давление на свидетеля?

— На французском.

Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.

— Извините, лейтенант, — говорю я любезно, — я просто привела поговорку. Примерно, «век живи — век учись»... Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.

Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба. Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова буквально.

Так и есть. Примиренным голосом заявляет:

— Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия — русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же поговорку (и тот же пагавурк!) вы могли сказать по-русски...

Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца и, закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск.

— Вы свободны, товарищ Козлова.

В дверях Налька вдруг мнетя, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она протягивает мне свернутую газету.

— Возьми. Сегодняшняя.

— Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.

Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом.

Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она не додумывала.

— Значит, ты не знаешь никаких новостей? — быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном. — Орджоникидзе умер. И еще Ильф...

— Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел...

Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.

Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, «пока я не аннулировал пропуска»... Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна была «очная ставка»!

Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на вопросы Лямы. Не отвечаю и на стук Гарая. Наступает ночь.



Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне после «конвейера».

Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время от времени — грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в висках.

Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Васильеве! А как зайцами на симфонические концерты пробирались! Да, нам было по восемнадцать и мы дружили.

Света. Через решетку, через деревянный щит в камеру пробивается солнце. Малюсенький блик. Он выглядывает на грязно-серой стене, как крохотный золотой жучок, заползший в большую навозную кучу.

Ведь уже апрель. Весна. Весна 1937 года.

#### Глава девятнадцатая

### РАСТАВАНИЯ

Это утро началось, как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток. Хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что Ляма показала сегодня «класс», утащив у старшего надзирателя иглолку.

Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их «старшой», который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки. Старшой приходит каждое утро, проверяя свое поголовье и бдительно осматривая нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже заглядывал в парашу.

Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вытянуть у него одну из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры.

— С вещами!..

Меня! С вещами... Значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас.

— Это на волю. Домой, — выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. — К нашим зайдите. И пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты «Снежинка».

Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:

— Бросьте ерундить! Чего это — после очных ставок да вдруг домой! Не в карцер ли? Или в этап?

Все разъяснил стук Гареев, как всегда отлично информированного.

— Во дворе «черный ворон». Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых.

В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та, что создается тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали у меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Гарея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно. Как в смерть. А может быть, и действительно в смерть. Ведь у каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на «высшую меру».

— Косыночку на память, Женечка, родная!

Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием.

Косыночку — соблазнительную, заграничную — у меня потом, уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза — «круглые да карие, горячие до гари».

Волнение Гарея (он снова один, Абдуллина терзают на самом усовершенствованном конвейере) передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности слова, немного патетические, как всегда у Гарея.

— Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помню до смерти. Она, правда, недалеко. А впрочем, кто знает... Вдруг — оковы тяжкие падут, темницы рухнут...

В коридоре идет бурная организационная работа. Формируется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения удобно отстучать Гарею последние прощальные слова.

...Наша дверь!... За мной! Мое имущество — узелок с бельем — галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Гарей прав и еще падут тяжкие оковы?

Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?

## Глава двадцатая

### НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Так вот это, значит, и есть «черный ворон»? Крытая, крашенная темно-синей краской машина для перевозки заключенных.

Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая на ней внимания. Думала — колбаса, молоко...

Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки — кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток.

Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже опытная заключенная, ученица Гарея. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за налаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топочут снаружи, стучу направо и налево. Кто? Кто? И слышу слева ответ:

— Ефрем Медведев.

Необыкновенная удача. Знакомый. Ремка Медведев, аспирант Института марксизма.

— Когда?

— 20 апреля.

Совсем недавно. Теперь я узнаю, как там, в городе. Кто взят после меня?

Оказывается, и стучать не надо. Можно просто шептать. Все слышно. А шум мотора заглушает эти звуки для конвоира, сидящего в коридорчике машины. И я слышу живой, настоящий Ремкин голос.

— Здорово, Женя. Аксенова видел на улице в начале апреля. Он вернулся из Москвы. Хлопотал о тебе, ничего не вышло. Ребята твои здоровы. Старшие горюют очень.

— Кто взят после меня?

— Спроси лучше, кто не взят...

И он перечисляет десятки фамилий из числа городского партактива, научных работников, инженеров.

Через другую стенку слышно, как кто-то охает по-татарски. Долго не отвечает на мои вопросы, но наконец, преодолев страх, называет свою фамилию. Не знаю его. Говорит, что он председатель райисполкома одного из сельских районов.

Нас везут довольно долго. Мне очень душно и тяжело, но я отвлекаюсь от своих ощущений, прислушиваясь к голосу Ефрема Медведева.

— Ягода-то тоже сидит, — говорит Рема, — сейчас Ежов. Тот самый, что был заворгом ЦК. Жутковатый, говорят, тип из него вытанцовывается.

«Черный ворон» останавливается. Нас выводят по-одному. Каждого проглатывают ощерившиеся черной пастью ворота старинной тюрьмы, выдавшей еще пугачевцев.

Опять все, как на Черном озере. Анкета. Новое отображение часов. (Зря только завела их!) По недосмотру надзирателей происходит «столкновение поездов» — запрещенная встреча заключенных. Я увидела обросшего черной щетиной Аксянцева, директора Туберкулезного института. Поговорить не пришлось: испуганный своей ошибкой конвой буквально растащил нас в разные стороны.

В каждом монастыре свой устав. Здесь отняли не только часы, но и пояс с резинками. Медсестра с ящичком лекарств, по совместительству обыскивающая заключенных женщин, жалостливо морщит веснушчатый носик.

— Какие у нас раньше были женщины и какие теперь! То были девки-воровки да уличные. А теперь все такие дамы пошли культурные, что даже жалко смотреть. Нате вот вам бинтик, чулки подвязать, а то как без резинок-то? Не показывайте только никому смотрите!

Воровато оглянувшись и установив, что мы одни в крохотной тюремной амбулатории, где происходил личный обыск, она торпливо осведомляется:

— Что вас заставило-то, а? Ну, против Советской власти что вас заставило? Ведь я знаю — вы Аксенова, предгорсовета жена. Чего же вам еще не хватало? И машина, и дача казенная, а одежда-то поди все из комиссионных? Да и вообще...

Кажется, ее представления о роскошной жизни исчерпаны. Я устало улыбаюсь.

— Недоразумение. Ошибка следователей.

— Тш-ш-ш... — Она косится на дверь. — А что, может правда, мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников то есть, чтобы им облегчение?

К счастью, приход надзирательницы освобождает меня от необходимости отвечать. А вообще-то любопытны эти попытки найти хоть какое-то разумное основание происходящего.

Я поднимаюсь с надзирательницей по выщербленной каменной лестнице на второй этаж. Здесь уже не подвал, но запах плесени, грязи, параш еще острее, чем на Черном озере. Я называю составные части этого запаха. В целом же они составляют, в сочетании с еще чем-то неуловимым, запах тюрьмы.

Вони и грязи здесь больше, чем на Черном озере, но сразу чувствуется более слабый режим. Тюрьма долгое время существовала как уголовная и еще не успела перестроиться применительно к потребностям. Разве на Черном озере, с его безмолвными надзирателями, был бы возможен подобный разговор при обыске?

Из камер доносятся довольно громкие голоса. Надзиратель, принявший меня на втором этаже, не выглядит истуканом. Он рассматривает меня со смешанным выражением веселого любопытства и сочувствия.

— В шестую давай! Там вроде почище бабенки, — добродушно тыкает он. Это на Черном озере тоже не допускалось.

Впоследствии я установила совершенно точный закон: чем грязнее тюрьма, чем хуже кормят, чем болтливей и грубее конвой и надзор — тем меньше непосредственной опасности для жизни. Чем чище, сытнее, вежливее конвоиры — тем ближе смертельная опасность.

Двери в камерах здесь не железные, а деревянные, с большими пыльными «глазками». Замки тоже висят, но не слишком большого размера.

— Принимайте новенькую! — фамильярно провозглашает надзиратель и даже улыбается.

Дверь запирается. Я оглядываюсь. О-о-о! Здесь целое общество. Все устремляется ко мне с расспросами. Из одного угла раздается странный, почти торжествующий возглас:

— Здорово! Да ведь это жена Аксенова!

Худая, немного кособокая, совсем седая женщина с папиросой в зубах почему-то явно довольна, что я в тюрьме. Она встает и протягивает мне руку:

— Дерковская. Член партии социалистов-революционеров. Знаю вашего супруга. Приходила к нему как просительница. Не думал он тогда, что через несколько месяцев его жена будет со мной в одной камере сидеть. Да... Откровенно говоря, я рада, что коммунисты наконец-то сидят. Может быть, практически осоят то, чего не могли понять теоретически. Однако устраивайтесь. Поговорим потом.

Устраиваться оказалось делом не простым. Камера переполнена. Рассчитанная на троих, она вмещала уже пятерых. Я шестая. Вдобавок к трем деревянным топчанам вдоль стен наскоро сколочены еще сплошные нары посередине.

Пока соседки сдвигали свое тряпье, снова загремели двери и в камеру ввели... Иру Егереву. «Черный ворон» совершил второй рейс и привез из черноозерского подвала еще партию людей, чье следствие закончилось или приближалось к концу.

Появление Иры сразу отвлекает общее внимание от меня. Ира еще хорошо одета. Ведущий ее следствие Царевский разрешал ей еженедельные передачи, не то из подспудного обожания изнеженной профессорской дочки, существу из незнакомого ему мира, не то в благодарность за то, что неискушенная в политике Ира быстро сдавалась на его незамысловатые силлогизмы и подписывала всякую чушь.

По ходу устройства на нарах и распаковывания вещей Ира показывает новым соседкам свои платья, рассказывает историю каждого из них. Над вонючей камерой плывут благоуханные слова.

— Вот в этом я в прошлом году, в Сочи, всегда на теннис ходила. Потом стало узко. А сейчас опять впору. Похудела здесь.

Отзывчивей всех на Ирины воспоминания о Сочи и теннисе оказывается высокая, круглолицая, склонная к полноте молодая женщина, с лицом, напоминающим мопассановскую Пышку. Это Анечка. В камере ее зовут Аня Большая, чтобы отличить от Ани Маленькой, расположившейся у противоположной стены.

Аня Большая — москвичка, сейчас работала в Казани, в Управлении железной дороги. Ей 28 лет. Детей и мужа у нее нет, но есть некий Вова, из постели которого Аню и вытащил месяц

тому назад, на рассвете, следователь, производивший арест. Вова побледнел. «Что ты натворила?» — «Абсолютно ничего», — пожала плечами бесстрашная Пышка и, чмокнув на прощание дрожащего Вову, смело вышла со следователем. Везли ее сюда на легкой машине.

— Я его спрашиваю: в чем вы меня обвиняете? В чем-нибудь антиморальном или в антисоветском? Отвечает: «в антисоветском». А-а-а, говорю, ну тогда вам придется извиниться... Только хмыкает, змей полосатый! И в чем же дело, как вы думаете? Анекдоты! Два анекдота! Семь лет хотят дать за них. По три с половиной за каждый.

И тут же выкладывает оба. Анин следователь составил два отличных протокола. Один на тему об оскорблении величества (Сталина), другой — о клевете на колхозный строй. Веселая Пышка возмутилась и крикнула в лицо следователю: — Ну и рассказала, ну и что? Я ведь не на собрании рассказала, а дома, за столом, в узком кругу. А во-вторых, не правда, что ли? Небось вас вот, к примеру, в колхоз калачом на заманишь!

И подписала оба протокола.

Теперь Аня Большая ждала суда. Семь лет были уже ей определенно обещаны. Аня Большая была первым встретившимся мне представителем мощного племени анекдотистов, так называемых болтунов, обладателей «легкой» статьи 58—10, выгодно отличающихся своей беспартийностью от нас, террористов, диверсантов, шпионов и т. д. В тюремном быту Аня Большая оказалась милейшим человеком, легким, уступчивым, склонным к небольшому циничному, но добродушному юмору.

Когда подавленные горем соседки не хотели с ней болтать, она не сердилась. Тогда она пела. Ее излюбленным номером был «Бананово-лимонный Сингапур» и некая заунывная «Беседка». Когда Аня, переходя со своего натурального сопрано на густейший контральто, гудела «ты уж не верне-е-ешься», ее ближайшая соседка Лидия Георгиевна стонала, как от зубной боли.

Лидии Георгиевне Менцингер было уже 57 лет. Она была арестована в третий раз. Немка-колонистка, в прошлом учительница немецкого языка, она была фанатично религиозной сектанткой, адвентисткой седьмого дня. Я до сих пор отчетливо вижу ее огромные карие глаза, налитые конденсированным отчаянием. Глядя в эти глаза, я вспоминала рассказ Леонида Андреева о воскресшем Лазаре. В рассказе говорилось, как все сидели за столом и ликовали по поводу чуда воскресения, а Лазарь сидел среди этих веселых людей и смотрел на всех вот такими же глазами, как у Лидии Георгиевны. Потому что он уже познал, что такое Смерть.

Я уже говорила в начале этих записок, что жадное любопытство к жизни во всех ее проявлениях, даже в уродстве, жестокости, глупости, порой отвлекало меня от собственных страданий. Такое же чувство я наблюдала и у многих других моих

спутников, шедших по крутому маршруту. Кроме того, у многих были еще и иллюзии. Все происходившее было слишком нелепо, чтобы длиться долго, — думали многие. И это ожидание, что вот-вот развеется какое-то гигантское недоразумение, широко откроются двери и каждый побежит к своему остывшему очагу, — поддерживало бодрость.

У Лидии Георгиевны не было ни любопытства, ни иллюзий. Она отлично знала, что надеяться не на что. Знала также, что ничего особенно любопытного для нее не произойдет. Ведь у нее все уже было.

Я встречала потом массу религиозников самых различных толков. Все они обязательно агитировали за свою веру, вербовали неопитов. Лидия Георгиевна не делала этого. Она молчала сутками, сидя с ногами на своем топчане и глядя поверх наших голов своим взглядом андреевского Лазаря.

Аня Маленькая была женотделкой.

— Я никогда не была беспартийной, — говорила она, все время поправляя падающую на лоб прядь своих подстриженных по-женотдельски прямых русых волос, — октябренком была, потом пионеркой, комсомолкой, потом коммунисткой.

И правда: вне партии, вне своеобразного стиля жизни, выработанного в партийной среде 20—30-х годов, невозможно было представить себе Аню Маленькую. Аня то и дело забывала, где она находится. То с увлечением начинала рассказывать, как ей удалось перестроить работу среди женщин на ткацкой фабрике, и планировала, что там надо еще предпринять, кого из работниц выдвинуть; то жалела, что не перешла на работу в пригородный райком, куда секретарь ее звал и где перспективы куда шире. А секретарь этот сидел в той же тюрьме, как раз под нами, во втором этаже.

Только после допросов Анечка возвращалась с посережшими губами, ложилась лицом к стене и молчала до ночи. Ночью она подходила ко мне, ложилась рядом, горячо шептала:

— Тш-ш-ш, Женя... Чтобы не слышали беспартийные. Такая, понимаешь, разношерстная публика. Даже эсеры есть... Истолкуют еще по-своему. Но ты только послушай...

Ее обвиняли во «вредительстве в партийной работе» и в связях с врагом народа. Этот «враг» был секретарем одного из казанских городских райкомов партии и, кроме того, приходился Ане Маленькой мужем. Любимым красавцем-мужем очень простенькой, даже не миловидной Ани.

— Я и сама-то всегда удивлялась, как это Ваня меня полюбил. Сколько за ним девчат бегало! Но вот уже семь лет живем и все он любит меня, вижу, что любит. Он за душу меня любит, за партийное мое сердце. А следовательно...

Аня захлебывается слезами. Следовательно, оказывается, говорит ей, что ее брак сам по себе подозрителен. Красавец-мужчина женат на замухрышке. Наверно, скорее всего это фиктив-

ный брак, заключенный по заданию вредительского центра. — А как же тогда Борька и Лидочка? От фиктивного, что ли?

Я глазу Аню Маленькую по худенькому, почти детскому плечу.

— Не слушай ты этого ирода! Весь партактив знает, как тебя Ваня любит.

— Тш-ш-ш... Не ругай следователя. Нина может услышать. Беспартийная работница. Скажет — уж если коммунисты следователей ругают, так что же мне тогда?

Но Нина Еременко крепко спала по ночам, только изредка испуганно вскрикивая. Зато днем она очень нервировала остальных обитателей камеры. Поджав ноги калачиком, она мерно раскачивалась на нарах, повторяя все одну и ту же фразу: «Когда же конец-то?»

Никакие принципиальные споры, отвлекавшие нас от тяжелых мыслей, не интересовали Нину. Никакие курортные воспоминания Иры Егеревой не будили в ней ответных чувств. Черноморский пляж и теннис — все это было слишком далеко от разнорабочей фабрики «Спартак», нескладной девчонки с неотмывающимися руками и неистребимым запахом сырой кожи, который шел от Нины вопреки двухмесячной давности.

Нине было 20 лет, из которых пять она проработала на фабрике «Спартак». Погубили ее именины. Да, Лелька рыжая позвала ее на именины, а она и пойдди, дура такая! А пошла-то, правду сказать, из-за Митьки Бокова. Он уж сколько раз подъезжал. Да не как-нибудь, а все про семейную жизнь заговаривал. Я, говорит, если что, своей жене работать не дам. Пусть домохозяйкой живет. Ну и пошла, чтобы лишний раз с ним повидаться. Еще брошку Лельке купила в ювелирном. Хорошую, позолоченную. А там, на именинах, ребята выпили. Ну, и кто-то будто на Сталина что-то сказал... Вот лопни глаза — не слыхала! А теперь двенадцатый пункт предъявляют. Недонесение. Ты, говорит, обязана была, как советская пролетарка, на другой день на изменников в НКВД заявить, а ты их покрыла.

И вот уже два месяца сидит Нинка поджав ноги калачиком и твердит: «Когда же конец-то?» И ничто ей не мило. Даже конфет у Иры не берет, когда та угощает из передачи. Когда Аня Большая уж очень надрывно запоет про беседку, Нина начинает рыдать. Главное, она боится, что Митька Боков не дождет ее, на другой женится. И уплывет у Нинки из рук синяя птица — счастливая судьба неработающей домохозяйки.

Иногда мы пытаемся утешать Нину тем, что Митька Боков скорее всего тоже сидит. Ведь и он не донес на кого-то. Но тут лицо занудливой девчонки хорошеет и озаряется внутренним светом, словно далекий огонек сквозит сквозь пепел, и она начинает страстно доказывать, что Митьку Бокова не возьмут, без него в цеху ведь совсем невозможно. Спаси бог! Пусть уж лучше он на Лельке женится, только бы цел был. Пусть уж одна Нинка пропадает. Так уж, видно, ей на руду написано.



А Аня Маленькая, привыкшая работать именно с такими, как Нинка, пуще всего боится, как бы у Нинки не возникло «нездоровое отношение к партии в целом». Поэтому свои горести после допросов Аня Маленькая поверяет только мне, «как партиец партийцу». Еще больше Аня опасается ушей Дерковской, эсерки.

— Понимаешь, Женя, ведь по сути дела она — настоящий классовый враг. Меньшевики и эсеры. Правда, по учебникам я их иначе представляла. Такая, в общем, славная и несчастная старуха. Но жалости нельзя поддаваться... И материала против партии нашей им нельзя давать.

Да, я тоже поддаюсь жалости, особенно когда речь заходит о Вовке, двадцатилетнем сыне Надежды Дерковской. Вова родился в 1915 году, в одиночке царской тюрьмы. Родители его, оба эсеры, сидели с небольшими перерывами с 1907 года. Февраль 1917-го освободил семью, и двухлетний Вова увидел родину матери — Петроград. Но уже в 1921-м они снова были в ссылке. Отец Вовы умер в Соловках. Странствуя с матерью из ссылки в ссылку, Вова попал в Казань. Здесь он провел последний светлый промежуток своей жизни, и здесь его застал 1937 год. Бог знает в который раз — уж не меньше чем в десятый — была арестована Надежда, мать Вовы. Но на этот раз вместе с ней был арестован и 22-летний Вовка, только что ставший, к великой радости матери, студентом пединститута.

— Вовка виноват только в том, что родился в царской тюрьме, а вырос в ссылке, — говорила Дерковская, — он ничуть не эсер. Аполитичен. Прекрасный математик. Ездил он за мной только потому, что очень меня любит. Нас ведь и всего-то двое на свете...

С необычайной яркостью представляю себе на месте Вовки подростка Алешу. Непереносимо. Еще можно как-то продолжать жить, внутренне сопротивляясь, когда лично тебя подхватила и закрутила некая злая сила, которая хочет отнять у тебя здоровье, разум, превратить тебя в труп или в бессловесную рабочую скотину. Но когда все это проделывают с твоим ребенком, с тем, кого ты растила и оберегала...

И я жалею Дерковскую едкой щемящей жалостью, хоть она действительно первая живая эсерка, которую я увидела, хоть она и резко высказывает мне в глаза свои мысли.

— Аксенов, муж ваш, мне понравился, как никто из коммунистов, облеченных властью, — рассказывает она, прикуривая одну папиросу от другой, — я приходила к нему, когда меня уволили с работы. По-хорошему, не по-палачески говорил со мной. Лично вас мне жалко. Но вообще-то, не скрою, рада, что коммунисты наконец тоже почувствуют на себе многое, о чем мы им давно говорили...

Мне любопытно дознаться, что же противопоставляют нашей программе современные эсеры. После нескольких бесед становится ясно, что никакой позитивной программы нет. Все, что

говорит Дерковская, носит только негативный характер по отношению к нашему строю. Их между собой больше всего связывают старые связи, укрепившиеся в бесконечных ссылках и тюрьмах. В дальнейшем, уже в лагере, я имела много случаев убедиться, как сильны эти связи, принявшие почти кастовый характер.

Однажды у Дерковской кончились папиросы. Привыкшая дымить непрерывно, она жестоко страдала. Как раз в это время мне снова принесли передачу, в которую мама снова положила две пачки папирос.

— Вот и ваше спасение пришло, — весело сказала я, обнаружив эти пачки.

Но вдруг я заметила, что она, покраснев, отворачивается, говорит «спасибо», но папирос не берет.

— Минуточку. Сейчас.

Подсаживается к стене и начинает стучать. Рядом сидит Мухина, секретарь их подпольного (настоящего!) областного комитета. Дерковская стучит уверенно. Она не знает, что я свободно прочитываю ее стук.

— Одна коммунистка предлагает папиросы. Брать ли?

В ответном стуке Мухина осведомилась, была ли эта коммунистка в оппозиции. После вопроса Дерковской и моего ответа — «нет, не была» — Мухина категорически выступает:

— Не брать!

Папиросы остаются на столе. Ночью я слышу тяжкие вздохи Дерковской. Ей, тонкой как сухое деревцо, легче было бы остаться без хлеба. А я лежу с открытыми глазами на средних нарах, и в голову мне приходят самые еретические мысли о том, как условна грань между высокой принципиальностью и узколобой нетерпимостью и еще о том, как относительноны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга.

## Глава двадцать первая

### КРУГЛЫЕ СИРОТЫ

Тюрьма, в которой я сейчас находилась, как уже говорилось, впервые за 20 послеоктябрьских лет стала местом заключения политических. До 1937 года они вполне умещались в подвале Черного озера. Зато теперь все три казанские тюрьмы были битком набиты «врагами народа». Однако традиции, сложившиеся в бывшей уголовной тюрьме, — привычка к грязи, грубости и некоторая свобода режима, — еще продолжали существовать по инерции.

Стучать здесь можно было почти беспрепятственно, так как тонкий звук перестукивания тонул в общем гуле этого перенаселенного, знойного, вонючего ада. (На Черном озере гулко отдавался даже тоненький звук гареевской булабочки.) Заме-

чания по этому поводу делались дежурными как-то вяло и не всерьез. Благодаря вольности мы скоро установили связь чуть ли не со всей тюрьмой. Стекла в ветхом окне были выбиты, а деревянный щит имел несколько иную форму, чем в подвале. Он резко расширился кверху, пропуская в камеру больше света и являясь в то же время звукоуловителем. Если подойти вплотную к окну и громко сказать что-нибудь прямо в глубь щита, то в нижней камере можно было все слышать.

Однако разговаривать так громко все же опасно. И вот был изобретен так называемый «оперный» метод общения. Инициатором его явился сидящий в камере, расположенной под нами, секретарь пригородного райкома партии. Фамилии не помню, звали его Сашей.

Однажды, на исходе знойного мучительного дня, когда надзиратели были отвлечены раздачей «баланды», мы услышали неплохой баритон, исполняющий арию Тореадора по такому неожиданному либретто:

Сколько вас там, женщины-друзья?  
Сколько вас там, спойте вы нам!  
Спойте  
Фамилии свои подряд,  
Здесь все  
Вас знать хотят,  
Да знать хотя-а-ат,  
Да знать хотят, хотят!

Мы быстро поняли, что от нас требуется. На самые различные мотивы были пропеты наши, а потом и их фамилии. Установилась тесная вокальная связь, дававшая возможность своевременно узнавать все новости. А их было много. Ежедневно мы слышали имена новых арестованных, узнавали, какие обвинения им предъявлены, как усиливаются «особые методы» при допросах. Нам удалось даже наладить обмен записками через уборную. Писали на развернутых бумажках от папирос, на самых тоненьких и маленьких клочках, все тем же огрызком карандаша, который Ляма украла у следователя и на прощанье подарила мне.

Саша, секретарь пригородного райкома, вначале был полон «титанического самоуважения». Все происходящее казалось ему маленьким кратковременным недоразумением. В вокальных беседах с Аней Маленькой он даже продолжал приглашать ее после «выхода отсюда» идти на работу «в мой район». С вельможными бархатными интонациями перечислял преимущества этого района сравнительно с тем, где работала до ареста Аня Маленькая. Даже сидя на нарах рядом с двумя беспартийными инженерами и вынося по очереди с ними парашу, он не мог отделаться от покровительственного тона в отношении этих людей.

Я не хочу сказать, что Саша был глуп. Хочу только подчеркнуть силу инерции и гипнотическую власть представлений, полученных в начале жизни.

Отрезвление, как у тысяч таких Саш, началось после применения на допросах «активных методов». Однажды один из беспартийных инженеров пропел нам на мотив арии князя Игоря, что Сашу привели после допроса с рассеченной губой, которая распухла и кровоточит. Нет ли у нас чего-нибудь смягчающего, вазелина например? Потом папирос бы ему...

Есть папиросы, но как передать? Через здешнюю уборную нельзя. Это настоящая клоака, и как возьмешь в рот что-нибудь, побывавшее в ней? Возникла мысль опустить папиросы на ниточке через окно. Из моего уже совсем облысевшего махрового халата были опять надерганы нитки. Папиросы привязали, как червяка на удочку, и все сооружение было спущено через отверстие в нижней части деревянного щита. «Нижние» удачно сняли при помощи деревянной ложки две папиросы. Но третья застряла между окнами двух этажей, и, выйдя на прогулку, мы увидели, как она ярко белеет на солнце. Вернувшись в камеру, мы спели на мотив популярной студенческой песенки:

Саша, Саша, над твоим окошком  
Папироска белая висит.  
Ты ее достать попробуй ложкой,  
А то всем нам здорово влетит.

Раздавшийся в ответ раскатистый баритон звучал отлично:

Да, да, я слышал,  
Ах, все теперь я понял,  
Ее достать решился  
Сегодня ж вечером...

В такие минуты мы чувствовали себя расшалившимися школьниками. Именно в один из таких моментов, когда мы, вопреки всему, весело смеялись, мне и суждено было принять новый удар. Было уже почти темно, когда Саша потребовал меня к окну.

— Ну, как там, как там наша папироска? — шутивно пропела я. Но в ответ услышала не спетые, а сказанные слова:

— Женя, соберись с силами. У тебя новое горе. Твой муж здесь. Арестован несколько дней тому назад...

Я опустила на нары...

И сейчас не могу спокойно писать об этой минуте. С момента ареста я категорически запрещала себе думать о детях. Мысль о них лишала меня мужества. Особенно страшными были конкретные мысли о мелочах их жизни.

Васька любил засыпать у меня на руках и всегда говорил при этом: «Мамуля, ножки закутай красным платочком...» Как

он сейчас смотрит на этот красный платочек, ненужным комком валяющийся на диване?

Алеша и Мая наперебой жаловались мне на Ваську и дразнили его: «Васенка-поросенка! Любимчик! Ябеда!»... Иногда Васька звонил мне на работу и спрашивал:

— Это университет? Позовите мамулю...  
Как точно об этом у Веры Инбер:

Смертельно ранящая, только тронь,  
Воспоминаний иглистая зона...

До этого дня, когда эти смертельно ранящие воспоминания подкрадывались ко мне, я отгоняла их короткой формулой: «Отец с ними!» И вот... А я наивно думала, что эта чаша минует наш дом. Ведь по тюремному телеграфу я узнала, что он снят с поста предгорисполкома, но не исключен из партии и даже назначен на новую работу — начальником строительства оперного театра. Это казалось мне признаком того, что с ним будет все хорошо. Ведь других вот не понижали в должности, не снимали с работы, а просто брали сразу в тюрьму. Нелепая была затея — устанавливать какие-то закономерности в действиях безумцев.

Навалилась ночь, душная, непроглядная, провонявшая парашей и испарениями сгрудившихся в кучу давно не мытых людей, пронизанная стонами и вскриками спящих, полная до краев отчаянием.

Напрасно я стараюсь переключить мысли на «мировой масштаб». Нет, сегодня мне не до судеб мира. Мои дети! Круглые сироты. Беспомощные, маленькие, доверчивые, воспитанные на мысли о доброте людей. Помню как-то раз Васька спросил: «Мамуля, а какой самый кичный зверь?» Дура я, дура, почему я ему не ответила, что самый «кичный» — человек, что именно его надо особенно опасаться!

Я больше не сопротивляюсь отчаянию, и оно вгрызается в меня. Особенно терзает воспоминание о пустяковом эпизоде, произошедшем незадолго до моего ареста. Малыш забрался в мою комнату, стащил со столика флакон хороших духов и разбил его. Я застала его собирающим черепки и источающим нестерпимое парфюмерное благоухание. Он смущенно взглянул на меня и сказал с наигранным смешком: «Я просто хлопнул дверь, духи сами упали».

— Не ври, противный мальчишка! — крикнула я и сильно шлепнула его. Он заплакал.

Сейчас этот эпизод жег меня адской мукой. Казалось, нет на моей совести более черного преступления, чем этот шлепок. Маленький мой, бедный, совсем одинокий в этом страшном мире. И чем он вспомнит мать? Тем, что она так ударила его за какие-то идиотские духи. Как я могла сделать это? И главное — теперь уже ничем, ничем не искупить...

Боль той ночи была так остра, что расплескалась на много лет вперед и дошла до сегодняшнего дня, когда я, спустя больше чем 20 лет, пишу об этом. Но я должна писать. Как у Инбер: «Без жалости к себе, без снисхожденья идти по этим минным загражденьям».

Конечно, мне никогда не сказать так точно и афористично, как В. Инбер. Но думаю, что нам было страшнее в наши тюремные ночи, чем им в блокадной ленинградской тьме. В их страданиях был смысл. Они чувствовали себя борцами с фашизмом. А мы, терзаемые под прикрытием привычных слов, были лишены даже этого утешения. Зло с большой буквы, почти мистическое в своей необъяснимости, кривило передо мной свою морду. Не то сон, не то явь. Какие-то чудовища с картин Гойи наползают на меня.

Сажусь на нарах и оглядываюсь. Все спят. Только место Лидии Георгиевны пусто. Она стоит около меня. Ее маниакальные глаза устремлены сейчас на меня с простой человеческой теплотой. Она гладит меня по голове и несколько раз повторяет по-немецки слова библейского многострадального Иова: «То, чего я боялся, случилось со мной; то, чего я ужасался, пришло ко мне».

Это было толчком. Всю ночь я старалась заплакать и не могла. Сухое горе выжигало глаза и сердце. Сейчас я упала на руки этой чужой женщины из неизвестного мне мира и разрыдалась. Она гладила меня по волосам и повторяла по-немецки: «Бог за сирот. Бог за сирот».

## Глава двадцать вторая

### ТУХАЧЕВСКИЙ И ДРУГИЕ

Мы уже давно заметили, что ранним утром, в очень ясную погоду, сквозь разбитые стекла нашего окна можно слышать обрывки доносящихся с улицы звуков радио. Репродуктор был, видимо, где-то поблизости, да и деревянные щиты играли роль звукоуловителей.

В это тихое летнее утро мы явственно услышали повторяемые с большой экспрессией слова «Красная Армия», «Вооруженные Силы» в сочетании со словами «враги народа».

— Что-то опять стряслось, — буркнула, протирая глаза, Аня Большая. — Нет, зря я раньше не интересовалась политикой. Довольно забавная штука, оказывается. Каждый день новые фортели!

— Если неблагополучно в армии — это значит, что расшатаны самые глубокие основы данного государственного строя, — взволнованно заявила Дерковская.

— Думаете, к учредилке, что ли, вернемся, — запальчиво бросила ей Аня Маленькая, а сама потихоньку сжала мне

пальцы и тоскливо прошептала: — Неужели и в армии враги народа?

Все мы замерли у окна. Но ветер доносит только жалкие обрывки слов. Вот как будто «на страже», а вот похоже, что сказали «изменников». И потом, точно назло, совсем ясно два слова: «мы передавали». Потом треск и маршевая музыка. Что случилось? Стучим направо и налево. Все в смятении, никто ничего не знает. Только к вечеру получили более точные сведения. Произошло это при таких обстоятельствах.

В самый разгар дневной жары, когда все мы, изнемогая от духоты и грязи, в одних трусах и лифчиках валялись на нарах, открылась дверь камеры и раздался добродушный басок дежурного по прозвищу Красавчик:

— Ну, девки, потеснись! Принимай новенькую!

Мы зашумели. Это немыслимо. И так уже нас семеро в трехместной камере. Куда же восьмого? Дерковская стала грозить голодовкой, но Красавчик, неискушенный в истории революционного движения, еще добродушнее хмыкнул:

— В тесноте, да не в обиде...

И легонько подтолкнул новенькую в спину, запер за ней дверь камеры наружным замком. Она так и осталась, точно вписанная в рамку двери.

Прошло несколько минут, пока я опознала за гримасой ужаса, искажившей эти черты, знакомое лицо Зины Абрамовой, Зинаиды Михайловны, жены председателя Совнаркома Татарии Каюма Абрамова.

Значит, берут уже и таких, как Абрамов? Член ЦК партии, член Президиума ЦИК СССР.

— Зина!

Нет, совсем невозможно узнать в этой до нутра потрясенной женщине вчерашнюю «совнаркомшу», с ее сановитой осанкой. Она больше похожа сейчас на ту провинциальную татарскую девчонку, торговавшую папиросами в сельской лавке, девчонку, на которой лет за двадцать до этого женился Каюм Абрамов. Выражение ужаса смыло все детали показного грима. Обнажились и классовые (простая крестьянка) и национальные черты. Татарский акцент, с которым Зина яростно боролась, проступил с особой силой в первых же сказанных ею словах:

— Нет, нет, меня сюда только на минуточку!

В ответ раздалась полная яда реплика Ани Большой:

— Ах, на минуточку? Ну, тогда я и двигаться не буду на нарах. Пойдите там пока.

Сарказм не дошел.

— Да-да, я постою, ничего.

Я никогда особенно не симпатизировала вельможной Зинаиде Михайловне. Она была куда хуже своего мужа, хоть и любившего выпить, хоть и обросшего немного бюрократическим жирком, но все же оставшегося добрым человеком, не забывшим своего пролетарского прошлого. Зина же, превратившаяся из

Биби-Зямал в Зинаиду Михайловну, резко порвала все нити, связывавшие ее с татарской деревней. Туалеты, приемы, курорты заполнили все ее время. Улыбки были дозированы в строгом соответствии с табелью о рангах. Мне, правда, перепадало больше любезности, чем полагалось бы по скромному чину жены предгорисполкома. Объяснялось это пристрастием Зины к печатному слову. Время от времени она любила выступить со статьей то в газете, то в журнале «Работница». Тогда-то и требовалась моя помощь.

Сейчас, однако, все это было неважно. Потрясенную, почти потерявшую от ужаса сознание женщину, стоявшую в дверях камеры, надо было приласкать и успокоить, насколько это возможно. Я отлично помнила, как поддержала меня в мои первые тюремные дни Лямина доброта. И я подошла к Зине, обняла и поцеловала ее.

— Успокойся, Зина. Пойди ляг пока на мое место. А потом подумаем, куда тебя положить...

К моему изумлению, Зина восприняла мой поцелуй как укус ядовитой змеи. Дико закричав, она отпрыгнула от двери, чуть не свернув парашу. У меня мелькнула было догадка об остром психозе, но последующие слова Зины все разъяснили:

— В двери глазок. Часовой увидит... Подумает — старые друзья. А ты ведь... про тебя в газетах писали...

Эти слова сразу вооружили против Зины всю камеру.

— Вот моральный уровень членов вашей партии! — патетически воскликнула Дерковская.

— А вы верите нынешним газетам? — прищурившись, осведомилась Ира. — Там вон и про меня писали, что я «правая», а я беспартийная и до тюрьмы даже не знала, что такое правый уклон.

— Думаю, что для мадам будет отведен лучший диван в кабинете Веверса, так что мы уж на нарах тесниться не будем... — И Аня Большая демонстративно повернулась к стене.

Часа три Зина простояла, как распятая, в амбразуре двери. Никто не предлагал ей места на нарах, да она и сама, поднимаясь на цыпочки, брезгливо озиралась кругом, боясь прикоснуться к чему-нибудь. Ее белоснежная воздушная блузка казалась на фоне камеры нежной чайкой, непонятно зачем приземлившейся на помойной яме.

Потом за Зиной пришли. По ее лицу молнией сверкнул восторг. Ведь ей так и говорили: «Мы вынуждены вас задержать на пару часов». Она даже улыбнулась нам на прощанье.

— Полная кретинка! — резюмировала Аня Большая. — Ведь и впрямь вообразила, что ее на волю повели! Куда же мы все-таки ее положим? На нарах даже воробья не сунешь. А тут такая дебелая сорокалетняя тетя...

Прошло несколько часов. Возвращаясь с вечерней оправки, мы услышали стоны, доносящиеся из нашей камеры. Зина Абрамова лежала на полу, у самой параша. Белая кофточка, смятая



и изодранная, была залита кровью и походила теперь на раненую чайку. На обнажившемся плече синел огромный кровоподтек.

Мы застыли в ужасе. Началось! Это был первый случай (по крайней мере, такой наглядный для нас!) избиения женщины на допросе.

Зина была почти без сознания, на вопросы не отвечала. Поднять в такой тесноте ее оплывшее тело на нары нам не удалось. Приложив к ее лбу мокрое полотенце, мы в абсолютном молчании улеглись спать.

— Женечка! — донеслось вдруг из Зинино угла.

Сейчас это звучало уже совсем по-татарски: «Жинишка!»

— Женечка, милочка! Не спи, страшно! Скажи, стрелять нас будут, да?

До сих пор не могу простить себе той мелочной мстительности, с какой я ответила:

— А ты не боишься со мной разговаривать? Обо мне ведь много кой-чего писали в газетах!

Сказала — и тут же почувствовала стыд за сказанное. Такой детской обидой задрожали ее пухлые губы, разбитые бесстыдной рукой.

— Иди ложись на мое место, Зиночка. А я посижу с тобой. Успокойся. Продумай все происходящее. Наша судьба будет зависеть от общего хода событий. Ты утром была еще на воле. Скажи, о чем передавало радио? Что случилось в Красной Армии?

— Ой, Женечка, милочка, страшно! Ой, джаным, нельзя ведь это здесь говорить-та... Ну скажу, не уходи... Тебе только... Тухачевский... Оказался...

— А еще кто?

Но на нее уже снова нашел приступ опустошающего страха. Не отвечая на мой вопрос, она судорожно теребит мои пальцы, повторяя:

— Будут расстреливать? Будут, да?

Аня Большая проснулась и садится на нарах. Она вытаскивает из-под соломенной подушки футляр от очков Лидии Георгиевны, блестящий и глянцевитый. Он заменяет Ане отобранное зеркальце. Это свое первое при каждом пробуждении движение Аня повторяет и сейчас. Она вытаращивает глаза и протирает их уголки, оскаливает зубы и рассматривает их, поправляет безнадежно размочалившийся перманент.

— Хорошо! — говорит она, зевая. — Теперь смена нашей Нинке пришла. Надо их срепетировать на дуэт. Нинка — контральто: «Когда же конец-то?», а новая дама — сопрано: «Женечка, милая, стрелять нас будут?» А потом вместе: «Ах мы, зануды, ах мы, зануды!»

Мне по-настоящему жалко Зину. Кроме того, меня почти физически тошнит от негодования при мысли о том, что некий бандит типа Царевского-Веверса только что бил кулачищем по

лицу эту сорокалетнюю женщину, мать двоих детей. Но еще сильнее жалости — желание узнать, что случилось сегодня в стране, в армии, в нашей безумной тюремной жизни. И я с холодным расчетом отвечаю на Зинины стоны:

— Чтобы ответить на твой вопрос, надо знать обстановку в стране. Скажи мне, кто еще взят вместе с Тухачевским и за что. Тогда я пойму масштаб событий. Тогда будет яснее, уцелеем ли мы лично или нас убьют.

— Ой, Женечка, милочка! Как говорить-та? Дежурный слушает... Скажет — информацию дает заключенным. Хуже нам тогда будет.

Зина встает с моего места и, кряхтя, снова укладывается на голый пол, у самой парашаи.

— Спи, Женя! Охота тебе с этой тлей возиться! Завтра мужики все узнают и в окно нам пропойют, — ворчит Аня Большая.

Но не успеваю я закрыть глаза, как Зина снова приподнимается и садится на полу. Она страшна. Распухшая, потерявшая приметы возраста и общественного положения, даже приметы пола. Просто стонущий кусок окровавленной плоти.

— Страшно мне, Женечка, милая. Ты ведь ученая, высшее образование имеешь (у нее получается «бысшее образовани»). Скажи только: стрелять нас будут?

— Послушайте, гражданка, — негодуяюще вмешивается вдруг Дерковская, — чего же вы лезли в политическую жизнь, если вами так владеет страх за вашу драгоценную жизнь? И почему вы обращаетесь за моральной поддержкой к тому, кому не доверяете? Ведь вы оскорбили Женю, своего товарища по партии, вы оттолкнули ее, когда она подошла к вам с лаской. Вы не хотели ей ответить на вопрос о том, что происходит на воле. А ведь она сидит уже пятый месяц, и ей так важно знать, что делается за тюремной стеной...

Зина отмахивается от нее, как от комара.

— Молчи, баушка. Ты за что сидишь-то? За веру, что ли? Богомолка, видать...

Дерковская пренебрежительно улыбается.

— Новую внучку дарует судьба. Моя фамилия Дерковская. Член обкома партии социалистов-революционеров.

— Член обкома? Врешь ты, баушка. Я обком весь по пальцам знаю. Да и не похожа ты на старую большевичку. Язык у тебя вроде не нашенский.

Да, с Зиной надо, конечно, на другом языке. Я присаживаюсь на корточки возле того места, где рядом с вонючей ржавой парашей лежит бывшая «первая дама Татарстана», и, с напряжением вспоминая татарские слова, выбор которых у меня крайне ограничен, все же слеплю фразу:

— Успокойся. Засни. Не бойся меня. Это ведь все неправда, что про меня там писали. Сейчас вот и про тебя так напишут. Завтра я тебе много расскажу и ты мне все расскажешь.

Я глажу ее по волосам. Потом называю имена ее детей. Ремик... Алечка... Надо сбержечь себя ради них.

Да, это был правильный подход. Зина вытирает мокрым полотенцем свое распухшее страшное лицо и вдруг быстрым страстным шепотом рассказывает мне по-татарски обо всем. От яростного желанья узнать все мои скудные сведения в татарском языке как-то волшебным образом расширяются сами по себе. Я понимаю почти все.

Да, теперь-то Зина и сама поняла, что все это была ложь про меня. Ведь вот и про нее выдумали же, что она буржуазная националистка, что Каюм — турецкий шпион. А сегодня с утра по радио... Никто ничего понять не может. Тухачевский, Гамарник, Уборевич, Якир и еще многие с ними... Все начальники военных округов. Как понять-та? И у нас в Казани все взяты. И председатель ТатЦИКа, и первый секретарь горкома, и почти все члены бюро обкома.

Большого Зина рассказать не может. И без того она заметила немало для своего кругозора. Она замолкает, оглядывается вокруг себя и вдруг со всей беспощадностью осознает свое положение, видит крупным планом и парашу, и тараканов на полу, и свою изорванную одежду.

— Эх, Женечка, милочка! Знала бы ты, на каких кроватях я лежала!

Перед ней, видимо, проносятся видения царственных альковов из дорогих номеров гостиницы «Москва» и правительственных санаториев.

Спи, бедная Зина! Ты так же мало заслужила те пышные лежа, как и этот грязный тюремный пол с тараканами и парашей. Быть бы тебе веселой, круглолицей Биби-Зямал из деревни под Буинском. Траву бы косить, печь хлебы. Так нет же, понадобилось кому-то сделать из тебя сначала губернскую помпадуршу, а теперь бросить сюда.

И всех-то нас история запишет под общей рубрикой «и др.». Ну, скажем, «Бухарин, Рыков и др.» или «Тухачевский, Гамарник и др.».

Смысл? Дорого дала бы я тогда, чтобы понять смысл всего происходящего.

### Глава двадцать третья

## В МОСКВУ

Тюрьма гудела. Казалось, толстые стены рухнут под напором неслыханных новостей, передаваемых по стенному телеграфу.

— Сидит весь состав правительства Татарии.

— При допросах теперь разрешены физические пытки.

— В Иркутске тоже сидит все руководство.

Иркутском казанцы интересовались особенно живо, потому что наш бывший секретарь обкома Разумов был с 1933 года секретарем Восточно-сибирского крайкома партии и увез с собой целый «хвост» казанцев. Звал он много раз и нас с Аксеновым и был очень обижен нашим отказом. Когда я встретила его как-то в Москве, в период моих предарестных мытарств, он торжествующим тоном говорит:

— Ну что, убедились, каково жить без своего секретаря? Были бы у меня — разве я допустил бы, чтобы с вами так разделались?

За все два месяца пребывания в этой старой тюрьме меня ни разу не вызывали на допрос. Тем более я разволновалась, когда на другой день после прихода к нам Зины мне велели приготовиться ехать на Черное озеро.

Кругом только и говорили о кампании избиений и пыток. Неужели и эта чаша не минует меня?

Дерковская, точно прочтя мои мысли, категорически заявила:

— Абсолютно нечего бояться. Во-первых, сейчас два часа дня и светит солнце. А для всех этих дел у них существует ночь. Во-вторых, ваше дело окончено. Скорей всего вас и вызывают только затем, чтобы объявить об окончании следствия.

Она была права. Меня вызывали, чтобы я подписала протокол об окончании следствия, а также о том, что злодеяния мои квалифицированы по статье 58, пункты 8 и 11. Дело мое передается на рассмотрение военной коллегии Верховного суда. Объявил мне об этом тот же Бикчентаев.

Он был в прекрасном настроении. Солнце отражалось в графине с водой и в эмалированных кукольных глазах «индюшонка». Он старательно писал, оформляя бумаги, и давал их мне подписывать. Время от времени он взглядывал на меня весело и вопросительно, как бы требуя одобрения своей неутомимой деятельности. Казалось, я должна была восхищаться тем, как здорово все спорилось в его ловких руках.

— Итак, — благодушно заявил он наконец, — дело ваше будет слушаться военной коллегией Верховного суда СССР и, значит, в ближайшие дни вы будете отправлены в Москву.

Он снова выжидательно посмотрел на меня, точно удивляясь, почему я не рада такому известию. И как бы желая все же добиться моего отклика, добавил:

— На меня вам обижаться нечего. Я вел дело объективно. Даже прошел мимо вашей связи с японским шпионом Разумовым. А ведь и об этом можно было неплохой протокол составить.

— С кем? С японским шпионом? Вы имеете в виду секретаря Восточно-сибирского крайкома партии? Члена партии с 1912 года и члена ЦК?

— Да, шпиону Разумову удалось, обманув бдительность партии, пробраться на руководящие посты. Да, до революции он

действительно состоял в партии. По заданию царской разведки...

Сколько раз Царевский и Веверс грозили мне составить протокол о моих попытках «дискредитировать руководство обкома в лице его бывшего секретаря тов. Разумова». Напрасно я уверяла их, что мы с Разумовым были друзьями и то, что они именуют дискредитацией руководства, было всего только приятельской пикировкой. Они продолжали твердить свое, хотя протокола так и не составили. Он им был не особенно нужен. Материала для передачи дела в военную коллегия, с их точки зрения, и так хватало. А теперь...

Итак, секретари обкомов из лиц, охраняемых и являющихся якобы объектами террористических заговоров, на наших глазах превращались в субъектов, руководящих такими заговорами. До сих пор мы знали, что в нашей тюрьме сидит 16-летний школьник, обвиняемый в покушении на секретаря обкома Лепу. А сейчас уже сидит все бюро обкома и сам Лепа.

В камере мое сообщение об отправке в Москву произвело сенсацию. Все переглядывались молча. Наконец Дерковская спросила:

— Он объяснил вам, что значит 8-й пункт?

— Нет. Да я и не спросила. Не все ли равно!

— Нет. Это обвинение в терроре. А пункт 11-й — значит группа. Групповой террор. Страшные статьи. И вас предадут военному суду.

Впоследствии я часто думала о том, что мое тогдашнее поведение могло показаться моим сокамерникам очень мужественным. На деле это было не мужество, а недомыслие. Я никак не могла осознать всей реальности нависшей надо мной угрозы смертного приговора. Совершенно непостижимо, как я пропустила мимо ушей, точнее — мимо сознания — объяснение Дерковской насчет того, что по этим пунктам положено минимум 10 лет строгого тюремного заключения. Минимум. Я знала, что максимум — это расстрел, но ни на минуту не верила, что меня могут расстрелять.

Настоящий предсмертный ужас пришел ко мне позднее, уже в Москве, в Лефортовской тюрьме. Здесь же, в ежеминутном потоке безумных новостей, наводящих на мысль о совершившемся государственном перевороте, все воспринималось как какая-то нереальная сумятица и неразбериха. Казалось, еще немного — и партия, та ее часть, которая оставалась на воле, схватит безумную руку, сожмет ее железным кольцом и скажет: «Довольно! Давайте разберем, кто же тут настоящий изменник!»

Меня провожала тепло и любовно вся камера в полном составе, без партийных различий. Пришивали пуговицы и штопали чулки. Давали советы и просили запомнить адреса их родных. Я слушала все как во сне. Меня терзала одна мысль.

Дерковская сказала, что перед отправлением в этап должны

дать свидание с родными. И я уже ясно видела жгучие глаза мамы, растерянные, испуганные личики детей, которые увидят меня через решетку. Надо ли это? Может быть, для них это воспоминание будет мучением на всю жизнь?

Все эти сомнения оказались лишними. Опыт Дерковской, вынесенный из царской тюрьмы, не пригодился. Здесь не было места «гнилому либерализму», а также «ложному гуманизму». Никакого свидания с родными мне не дали. Я никогда не увидела больше Алешу и маму.

#### Глава двадцать четвертая

### Э Т А П

— С вещами!

Какое содержание скрывается за этой короткой формулой! Ты снова между перекладинами чертова колеса. Оно вертится и волочит тебя за собой. От всего близкого и дорогого — навстречу безымянной пропасти. Ты лишена свободы. Тебя волокут, как вещь, куда вздумается хозяевам.

Лидия Георгиевна, адвентистка седьмого дня, использует наконец напряженность момента для пропаганды своих взглядов.

— И всегда-то мы — песчинки, которые несутся с неведомым ветром. А сейчас вам послано испытание, чтобы вы осознали, в чьих руках судьба ваша.

— Но когда вершителями моих дней и судеб становятся негодяи вроде Царевского — это унижительно. Подчиняться им — постыдно. От этого надо бы уйти. Но на это как-то еще нет сил.

— Помилуй вас Бог от такого шага! Убьете душу живую.

Дерковская, забыв об эсеровской принципиальной непримиримости к коммунистам, утирает слезы.

— Скучно теперь будет в камере. Некому стихи почитать. Блока вы меня полюбить заставили.

— Что же это вы плачете обо мне, не спросясь у Мухиной? — шучу я. — Еще разрешит ли она вам плакать о коммунистке, не примыкавшей к оппозиции?

Она сердито отмахивается и громко сморкается в полотенце. А я им читаю на прощание тоскливые стихи О. Мандельштама:

Как кони медленно ступают,  
Как мало в фонарях огня...  
Чужие люди, верно, знают,  
Куда везут они меня...

Этап в Москву на заседание военной коллегии Верховного суда собирали немаленький. Это мы безошибочно различали своим обостренным слухом. «Брали» из многих камер. Из нашей — двоих: меня и Иру. Последнее обстоятельство особенно возмущало всех, в том числе и самое Иру.

— Ну вы-то ладно! — говорила она. — Вы хоть член партии! А я при чем, чтобы меня на военную коллегия?

Мысль о том, что принадлежность к коммунистической партии является отягчающим обстоятельством, уже прочно внедрилась в сознание всех.

Что же это такое? «Восемнадцатое брюмера Иосифа Сталина»? Или как еще назвать все это?

И вот мы готовы. Пожитки связаны в узлы. Выслушаны все последние советы и пожелания, приняты напутствия по стенному телеграфу и по вокальному радио. Мы с Ирой сидим еще на тех же нарах, но нас уже здесь нет. Как сквозь сон слышу причитания Зины Абрамовой:

— Тебе хорошо, Женечка, милочка! У тебя высшее образование, не пропадешь... А я вот...

Если бы она знала, как мало пригодилось мне в дальнейшем образовании и как пригодилась физическая устойчивость!

Дверь открывается. Нас выводят в коридор, сводят вниз по лестнице. Что это? Ошибка конвоя? Внизу, у самой двери, переплетенной железными прутьями, сидят на своих узлах две отлично знакомые женщины. Обе наши, университетские. Юля Кареева, биолог, и Римма Фаридова, историк.

Нет, не ошибка. Нас объединили сознательно. Всех нас везут в Москву. Жадно набрасываемся друг на друга с расспросами. Выясняется, что Юля и Ира по одному «делу» — члены слепковского семинара. Теперь их встреча уже не опасна для следователей, ведь следствие окончено.

Мое предположение, что Римма, как бывшая аспирантка Эльвова, вероятно, привлекается по моему «делу», оказывается неверным.

— Нет, — беззаботно говорит Римма, — я татарка, и им удобнее пустить меня по группе буржуазных националистов. Вначале я действительно проходила у них как троцкистка, но потом Рудь завернул дело, сказал, что по троцкистам у них план перевыполнен, а по националистам они отстают, хоть и взяли многих татарских писателей.

Все эти оригинальные глаголы Римма употребляет без всякой иронии, точно речь идет о выполнении самого обычного хозяйственного плана. Как будто она не видит во всем происходящем ничего странного. Вообще Римма выглядит чудесно, лучше всех нас. Только позднее я поняла причины этого. С первого же допроса Римма пошла на все. Десятки людей из татарской интеллигенции и вузовского партактива были принесены в жертву ее относительному тюремному благополучию. Одной из этих жертв оказался и муж Риммы, бывший культпроп обкома, умный, сдержанный, молчаливый человек, похожий на китайца и прозванный в «Ливадии» Конфуцием. Именно показания жены дали основание для вынесения ему смертного приговора. За все это Римма получила тридцать сребреников реальных, в виде постоянных передач, и тридцать — иллюзорных, в виде

обещаний дать ей, как «чистосердечно раскаявшейся и помогающей следствию», не тюрьму, не лагерь, а только ссылку, да еще всего на три года.

Юля Кареева поразила меня рассказом о поведении Слепкова. Он, оказывается, тоже был привезен для «переследствия» из уфимской ссылки, где находился после трех лет политизолятора. По рассказу Юли, Слепков пошел на все, чего требовали от него следователи. Дал список «завербованных», свыше 150 человек. Давал любые «очные ставки», в том числе и Юле. Это был какой-то гнусный спектакль, в котором и Слепков и следователь были похожи на актеров из кружка самодеятельности, произносящих свои реплики без тени правдоподобия.

Глядя Юле в лицо пустыми глазами, Слепков повествовал о том, как он в Москве «получил от Бухарина террористические установки», а приехав в Казань, поделился ими с некоторыми членами подпольного центра, в том числе с Юлей. Она, мол, полностью согласилась с установкой и выразила готовность быть исполнителем террористических актов. Юля, задохнувшись от изумления и гнева, закричала на него: «Лжетел! Он патетически воскликнул: «Надо разоружаться. Надо стать на колени перед партией».

Таким образом, Юлино «дело» выглядело куда лучше оформленным, чем мое. Вместо моих «свидетелей», которые якобы знали о существовании подпольной группы, но сами в ней не участвовали, здесь признания делал сам так называемый «руководитель бухаринского подполья» в Казани. И он же разоблачал «члена группы» — бедную круглоглазую Юльку, ортодоксальнейшую из всех партийных ортодоксов.

До сих пор не понимаю, что заставило Слепкова поступать подобным образом. В жизни он казался обаятельным человеком, привлекавшим к себе сердца не только блестящей эрудицией, но и человеческой добротой.

Неужели это была вульгарная попытка купить себе жизнь ценой сотен других жизней? Или, может быть, это была та самая тактика, о которой говорил Гарей: хитроумное решение — подписывать все, доводя до абсурда, стараясь вызвать взрыв негодования в партии? Это было так же непонятно, как и многое другое в том фантастическом мире, в котором я обречена была теперь жить, а может быть, и скоро умереть.

Мы все четверо должны были предстать перед военным судом по обвинению в политическом терроре. Римма уверяла, что, по ее сведениям, в этом этапе мы — четверо — единственные женщины среди многих мужчин.

Казалось бы, все это должно было вызывать у нас мысли о возможности смертной казни. Это было бы логично. Но нарушение логики, являвшееся законом этого безумного мира, видимо, коснулось и нас. Так или иначе, ни одна из нас не допускала мысли о подобном исходе.



Ира настойчиво твердила о своей беспартийности, дававшей ей, по ее мнению, колоссальное преимущество сравнительно с нами, тремя коммунистками.

Римма верила в обещанную следователями «вольную ссылку», а мы с Юлей успокаивали себя разговорами о массовости происходящего действия, о том, что «всех не расстреляешь» и еще почему-то — судьбой Зиновьева, Каменева и Радека. Уж если им дали по десять лет, так неужто нам больше? Наивность этого рассуждения можно извинить, принимая во внимание, что мы уже полгода сидели в тюрьме и не наблюдали изо дня в день того жуткого процесса, который теперь, после смерти Сталина, получил академическое название «нарушение социалистической законности».

И вот ворота старой тюрьмы снова захлопнулись за нами. «Черный ворон» уже заполнен. Из его закрытых кабинок доносятся покашливания и вздохи. Поскольку мы уже соединены вчетвером, нас можно больше не прятать друг от друга. Поэтому нас размещают прямо на узлах, в узком коридорчике «черного ворона».

Сквозь трещинку во входной дверце можно кое-что видеть. Не простым глазом, конечно, а наметанным, тюремным, скрупулезно наблюдательным и пронизательным до неправдоподобия. Обоняние, слух, ощущение оттенков движения тоже помогают.

Вот запахло липой. Это значит — проезжаем мимо памятника Лобачевскому. Большая выбоина в асфальте — заворот на Малую Проломную. Остальное дополняет воображение. Оно фиксирует картины дорогого мне города, моей второй родины, «где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил»... Ничего, что сентиментально. В такую минуту можно себе позволить.

Стоп. Запахло горячими рельсами, паровозной гарью. Раздалось деловитое пыхтенье, потом короткие тревожные вскрики паровозов.

— Выходь давай!

Нет, это не знакомый вокзал. Это где-то на отдаленном участке пути. А как же свидание с детьми, с мамой? Ведь Бикчентаев обещал. Нет. На перроне только целый выводок следователей и конвойных. После темноты «черного ворона» в глазах рябит от звезд и блестящих пуговиц. У некоторых из них и ордена. На этом фоне резко выделяется Веверс, одетый в элегантный штатский костюм цвета голубинового крыла. На его физиономии, внимательной и напряженной, знакомая гримаса — смесь ненависти и презрения — та самая, которой их обучают в спецшколах.

— Сюда! Сюда!

Самый обыкновенный жесткий купированный вагон. Четыре места. У двери каждого купе — отдельный часовой. Только дверь среднего купе свободна и открыта. Там едут следователи, сопровождающие в Москву свой ценный груз.

Толчок. Паровоз прицепили. Еще толчок. Поехали... От чего уезжаем — было ясно. От своих детей, брошенных на произвол судьбы (ах, если бы только судьбы! На произвол НКВД — это пострашнее!), от мамы, от университета, от книг, от чистой, светлой жизни, полной сознания правильности выбранного пути. А куда? Ну, это знают только те, кто везет нас.

В купе заходит Царевский. Он разъясняет правила поведения в пути. Как есть, пить, спать, как разговаривать, как в уборную ходить. Я давно не видела его и теперь замечаю в его лице что-то новое. Оно стало землисто-темным и резко выделяется рядом с выгоревшими светлыми волосами. Он кажется старым, хотя ему не больше 35. Голос у него тот же: скрипучий, гнусный, с издевательскими интонациями. Но в глазах его рядом с Подлостью живет теперь Ужас.

Тогда это казалось необъяснимым. Но позднее мы узнали, что в это время уже начинался процесс изъятия первого «слоя» в самом НКВД. «Мавр сделал свое дело — мавр может уйти». Под некоторых следователей уже «подбирали ключи», и они, съевшие собаку на делах такого сорта, смутно чувствовали это. В частности, Царевский был арестован вскоре после нашей отправки в Москву и, просидев короткое время, повесился в камере на ремне, который ему удалось спрятать. Рассказывали, что он перестукивался с соседями и давал всем советы «ничего не подписывать».

Получил 15 лет срока и веселый индюшонок Бикчентаев, были ликвидированы и Рудь, и Ельшин, о встрече с которым на Колыме я расскажу дальше.

Но сейчас все это было еще впереди, а пока Царевский, разъяснив нам подробно, что именно запрещается, ушел в следовательское купе жрать свинные отбивные, запах которых разносился по всему коридору, и пить белое вино, бутылки из-под которого все время выносили конвоиры.

Окно купе было густо замазано белой краской. Только выходя на «оправку», мы могли иногда, через неплотно закрытую дверь вагонной площадки, улавливать очертания хорошо знакомых мест на привычной Московско-Казанской дороге.

Запомнился эпизод с малиной. На одной из стоянок мы заметили, что конвойные передают друг другу кулечки со свежей ягодой. У Иры Егеревой было 50 рублей. Ее отец, известный в Казани профессор Строительного института, какими-то правдами и неправдами добился передачи их дочке.

— Попросите следователя Царевского, — сказала Ира дежурному, и когда Царевский явился, Ира обратилась к нему тоном кокетливой дамы:

— Лейтенант, прикажите купить нам малины. Вот деньги...

Не знаю уж, что подействовало на Царевского: смехотворное ли несоответствие этого тона всей обстановке или те смутные предчувствия личной трагедии, которые терзали в это время черноозерского палача, но только он вдруг взял деньги и через

несколько минут вернулся со сдачей и двумя кулечками ма-лины.

Она была очень свежей, сухой, с серебристой пылью на поверхности. Она благоухала. Ее было жалко есть. Мы пере-считали ягодки и разделили их поровну на 4 части. Мы ели ее полтора часа, смакуя каждую ягодку отдельно, заливаясь счастливым смехом.

Ведь нам удалось урвать последний кусочек со стола вели-колепного пиршества жизни, в котором нам не суждено больше участвовать.

## Глава двадцать пятая

### БУТЫРСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

С первого момента прибытия в Москву нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены до-нельзя, они бегали, метались, что называется, высунув язык. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круг-лосуточно заседали судебные коллегии.

Мы еще долго оставались в вагоне давно прибывшего в Москву поезда, прислушиваясь к торопливому топоту ног на перроне, к отрывочным возгласам, к таинственным лязгам и скрипам.

Наконец мы погружены в «черный ворон». Снаружи он объеми-стее казанского и выглядит даже приятно, окрашен в светло-голубой цвет. Безусловно, прохожие уверены, что в нем хлеб, молоко, колбаса.

Но клетки, в которые запирают людей, еще уже, душнее и невыносимее казанских. Клетки выкрашены масляной краской, воздух не проникает в них, и уже через несколько минут на-чинаешь по-настоящему задыхаться, тем более в этот раскален-ный, пахнувший плавленным асфальтом июльский день.

Изнемогая, истекая потом, со слипшимися волосами и откры-тыми ртами, мы сидим запертые в клетки, терпеливо ждем. Долго ждем, потому что, наверно, не хватает и шоферов. Вок-руг машины не прекращается тот же топот торопливых ног, те же перешептывания, стуки, хлопанья каких-то дверей. Нелегкий труд у этих людей.

Каким-то шестым чувством мы догадываемся, что конвоя в нашей машине еще нет, и начинаем переговариваться вслух. Оказывается, вся большая машина полна казанцами. Но жен-щин, действительно, только четыре. Это мы. А среди мужчин здесь почти все правительство Татарии последнего состава и много членов бюро обкома. Здесь и Абдуллин, которого ждал расстрел. Мы успели обменяться с ним последним приветствием.

Но вот топот тяжелых сапог совсем близко. Захлопываются дверки, шумит оживший мотор. Тронулись... Едем далеко.

Значит, в Бутырки. Ведь Лубянка-то близко от Казанского вокзала.

Становится совсем невыносимо. Кто-то кричит: «Откройте, дурно!» Короткий ответ: «Не положено!» Руки и ноги затекли. Сознание затуманивается. Перед глазами бегут странные картины. Вспоминаю, что во время Великой французской революции на гильотину возили в открытых тележках. Не мучили удушьем. А старый Бротто у Франса даже читал, стоя в тележке, Лукреция. До самого последнего момента.

Усилим воли, чтобы не потерять сознания, стараюсь занять его — мысленно воспроизвожу вид улиц, по которым мы едем. Потом все путается.

Я прихожу в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Машина стоит. Дверка моей душегубки открыта, и некто в белом халате сует мне в нос едко пахнущий флакончик. Потом методически открываются следующие дверки и туда тоже суют пузырек. Значит, и мужчины не выдержали этого пути.

Дорогу от «черного ворона» до так называемого бутырского «вокзала» я прошла, по-видимому, в полубессознательном состоянии, так как я ее сейчас никак не могу вспомнить. Я вспоминаю себя уже сидящей на своем узле с вещами в огромном холле, действительно напоминающем вокзал. Большое, гулкое, довольно чистое помещение со снующими взад и вперед людьми обоего пола в форме, не так уж сильно отличающейся от железнодорожной. Очень много дверей. Какие-то кабины, похожие на телефонные будки. Потом я узнала, что это так называемые «собачники» — закутки без окон, куда заводят заключенного, когда он должен ждать чего-нибудь. Основной закон тюрьмы — строгая изоляция. Условный звонок у дверей сигнализирует приближение новой группы заключенных.

К нам подходит надзирательница и тихо говорит мне:  
— Следуйте за мной.

Еще минута — и я в собачнике. Заперта снаружи. Одна. Нас снова разлучили. Я едва успеваю оглядеться. Кабина, чуть пошире телефонной будки, выложенная изразцовыми плитками. Вверху лампочка. Табуретка.

Замок снова щелкает, меня опять ведут.

Теперь я в большой комнате, битком набитой голыми и полуголыми женщинами. Черными галками выделяются надзирательницы в темных куртках.

Баня? Медосмотр? Нет. Массовый личный обыск вновь прибывших.

— Раздевайтесь. Распустите волосы. Раздвиньте пальцы рук. Ног... Откройте рот. Раздвиньте ноги.

С каменными лицами, точными деловитыми движениями надзирательницы роются в волосах, точно ищут вшей, заглядывают во рты и задние проходы. На лицах одних обыскиваемых женщин — испуг, на других — омерзение. Бросается в глаза огромное количество интеллигентных лиц среди арестованных.

Работа идет быстрым темпом. На длинном столе растет гора отобранных вещей: брошки, кольца, часы, сережки, резинки, записные книжки. Это ведь москвички, арестованные только сегодня. Они только что из дома, и у них много всяких милых мелочей. Им еще тяжелее, чем мне. У меня бесспорное преимущество — полугодовой опыт и то, что мне уже нечего терять.

— Одевайтесь!

Ко мне вдруг подходит молодая девушка, почти девочка, с коротко остриженными «под мальчика» волосами.

— Вы член партии, товарищ? Не удивляйтесь, что я спрашиваю об этом здесь. Мне по вашему лицу кажется, что вы коммунистка. Ответьте, мне это очень важно. Да? Ну вот, а я комсомолка. Катя Широкова меня зовут. Мне 18 лет. Я не знаю, как себя вести. Посоветуйте. Смотрите, вон та немка спрятала в волосы несколько золотых вещей. Должна ли я сказать надзирательнице? Я просто теряюсь. С одной стороны, донос — это противно. А с другой — ведь это советская тюрьма, а она, может быть, настоящий враг?

— А мы с вами, Катя?

— Ну, это, конечно, ошибка. Лес рубят — щепки летят. Я уверена, что выпустят. Но страшно трудно решить, как вести себя вообще и вот в данном случае...

Я смотрю на женщину, указанную Катей. Вижу лицо необычайно нежной красоты и обаяния. Потом я узнала, что это была известная немецкая киноактриса Каролла Неер-Гейнчке. Вместе с мужем-инженером она приехала в 34-м году в СССР. Два колечка, удачно спрятанные от бдительных очей надзирательницы, были памятью о муже, которого она считала уже мертвым. Ловким движением актрисы, часто снимавшейся в приключенческих фильмах, она сумела спрятать две золотые вещицы в золотом изобилии своих волос.

Милая, забавная мордочка Кати Широковой устремлена на меня с требовательным вопросом.

— Вам хочется получить директиву, Катюша?

— Ну, хотя бы в данном случае. Вот с этой немкой...

— Знаете что, Катя... Поскольку мы голые сейчас, и в буквальном и в переносном смысле слова, то, я думаю, лучше всего будет руководствоваться в поступках тем подсознательным, что условно называется совестью. А она вам, кажется, подсказывает, что донос — это гадость?

Так были спасены два колечка Кароллы Гейнчке. Впрочем, ненадолго, как и сама Каролла. Но об этом ниже.

До глубокой ночи я проходила все этапы бутырской обработки. После обыска — снятие отпечатков пальцев, процедура не менее унижительная, чем обыск. Затем фотографирование в профиль и в фас, а под конец — долгожданная баня, радостная и сама по себе и как что-то разумное, выходящее хоть на время из круга дантова ада.

Нигде люди не сходятся так быстро, как в тюрьме, особенно в моменты, подобные вот такой «обработке». Общий страх перед ближайшим будущим, общее чувство растоптанности человеческого достоинства. Мы проходили все процедуры этого дня вместе, эти сорок женщин, с которыми меня свели нынче утром, во время личного обыска. Вместе ждали своей очереди, страстным шепотом поверяя друг другу суть наших «дел», имена наших детей, наши боли и обиды. Понимали друг друга с полуслова.

И вот мне уже кажется, что все будет гораздо легче, если меня не разлучат с этой милой черноволосой Зоей из Московского пединститута, о которой я уже знаю столько, сколько можно узнать за десять лет закадычной дружбы. И она тоже бросается ко мне со вздохом облегчения, когда я выхожу из очередного «собачника», где меня фотографировали.

— Вместе будем, Женечка. Наверно, и в камеру вместе поведут. Хорошо бы...

Нет, и эти маленькие утешения нам не даны. Нас разлучают, как на невольничьем рынке. И выйдя из душа, я вижу, что уже нет в коридоре ни Зои, ни Кати Широковой, ни золотоволосой Кароллы.

— Налево! — командует конвойный. Меня ведут одну по сумрачным бутырским коридорам. Потом конвоир передает меня другому, и я слышу шепот: «Спецкорпус». А здесь меня принимает женщина-надзирательница, в темной куртке, со строгим монашеским лицом.

Двери в спецкорпусе обычные, без средневековых засовов и замков, запираются просто на внутренний ключ. Вот он повернулся за мной, и я стою со своим узлом в дверях, озираясь кругом.

Огромная камера битком набита женщинами. Мерный ритм сонного дыхания прорезывается то и дело стонами, вскриками, бормотаньем. Достаточно постоять у дверей минуту, чтобы понять: здесь не просто спят, здесь видят мучительные сны. По сравнению с известными мне двумя казанскими тюрьмами здесь почти комфортабельно. Большое окно. За его решеткой, правда, тоже есть щит, но не деревянный, а из матового стекла. Вместо нар — деревянные раскладушки. Гигантская параша в углу плотно закрыта крышкой. Все места заняты.

Подождав немного, я развязываю узел, вынимаю из него свое байковое домашнее одеяльце (клетчатое, Алешенькино, родное) и стелю его прямо на пол, поближе к окну. С наслаждением вытягиваю ноги. Тело гудит от усталости. Я уже готова погрузиться в сладкое бездумье, как вдруг открывается дверная форточка и в нее просовывается голова надзирательницы.

— Запрещается на полу. Встаньте!

— Но ведь нет мест.

— Посидите до утра. Утром переведем в другую камеру. Скоро уже утро.

Как только дверная форточка захлопывается, на одной из коек поднимается фигура со всклокоченными волосами.

— Товарищ! Идите, ложитесь. Я все равно спать не могу. Не стесняйтесь. Честное слово, посижу с большим удовольствием.

В ее голосе кавказский акцент. «С ба-алшим удовольствием»...

Она торопливо укладывает меня на свою раскладушку. Боже, какая роскошь! Я уже забыла, что можно лежать на чем-нибудь, кроме соломы. От подушки моей новой знакомой пахнет чем-то забытым — чистотой, давнишними духами.

Женщина понимает без слов.

— Это у нас в Армении проявили гнилой либерализм — подушку мне разрешили. И немного белья тоже принесли из дому. Здесь подушку хотели отнять, но следователь заступился. Он меня на данном этапе обхаживает. Думает — подпишу.

От усталости, что ли, но этот голос кажется мне знакомым. Лица разглядеть не могу. Лампочка уже выключена, а тусклый рассвет только еще брезжит сквозь решетку и матовый щит.

— Устроились? Ну вот и великолепно.

Это слово рассеивает мою дремоту. Я напрягаю память. Нет, определенно: кто-то из моих знакомых очень часто и именно так произносил это слово. Вз-ли-ко-лэпно! И эта кудрявая всклокоченная голова... Я беру женщину за руку.

— Как вас зовут? Имя ваше как?

— Нушик, — говорит она. И в тот же момент я вскакиваю и бросаюсь ей на шею.

— Нушик! Посмотри пристальней! Не узнаешь?

— Женька? Ах я ишак! Женьку не узнать!

Мы с плачем и хохотом перебиваем друг друга воспоминаниями. Восемь лет тому назад, молоденькими аспирантками, мы спали с ней рядом в большой комнате Ленинградского дома ученых.

— Почти такая же комната была? Да?

— Ну, положим...

Это был большой зал в бывшем дворце великого князя Сергея Александровича, на Халтурина, рядом с Эрмитажем. Огромное, во всю стену, зеркальное окно выходило на Дворцовую набережную. Призрачный свет фонарей озарял по ночам эту комнату, в которой жило десять аспиранток.

— А помнишь, как я тебя один раз разбудила ночью?

Еще бы не помнить! С утра Нушик до одурения зубрила диамат. Предстоял экзамен. И вот она разбудила меня ночью, чтобы задать вопрос:

— Скажи, дорогая, кого он с головы на ноги поставил? Ге-геля? Вз-ли-ко-лэпно...

Мы вспоминаем наперебой эти милые времена...

— А хочешь я тебе сейчас за ту услугу отплачу: объясню, кто сейчас все поставил с ног на голову? Или сама догадалась?

Приблизительно догадалась, конечно. Но пусть Нушик скажет. И она шепчет мне в самое ухо:

— Сталин!

Мы еще долго шепчемся, и я засыпаю буквально на полуслове. Просыпаюсь от устремленного на меня взгляда. Рядом с Нушик, в ногах постели, женщина лет 45. На лице — острое страдание. Подсела ко мне, заметив, что я проснулась, сжимая руки, спросила:

— Скажите, процесс уже был? Их уже расстреляли, да?

— Кого? Какой процесс?

— Бойтесь говорить?

— Вот что, Женька, — вмешивается Нушик, — тут бояться нечего. Это жена Рыкова. Скажи, что с ее мужем. Ведь мы сидим уже два месяца... Ничего не знаем.

Я стараюсь как можно яснее растолковать, что сижу уже полгода, что меня привезли из другого города, я ничего не знаю о предстоящем процессе Рыкова.

Но она не верит мне: ведь меня только что привезли, а после бани у меня довольно свежий вид. И главное — она не верит потому, что даже за засовами тюрьмы людей не покидает великий Страх. Они уже попали в сеть Люцифера, но им все еще кажется, что можно выпутаться, что у соседа дело страшнее, что надо быть осторожным и ничего не рассказывать.

Много их прошло перед моими глазами, этих тюремных дипломатов, уверяющих, что они уже за год до ареста не читали газет, ничего рассказать не могут. А сколько я видела заключенных, ведущих в повышенном тоне ультрапатриотические разговоры, в наивном расчете на то, что надзиратель услышит и доложит, где надо.

Обидно, что меня приняли за одну из них. Но разубеждать некогда. Открывается дверная форточка, снова просовывается голова надзирательницы.

— Подъем! Приготовиться на opravку!

Камера откликается скрипом 39 раскладушек. Все встают. Жадно вглядываюсь в лица. Кто они? Вот эти четверо, например? Какие-то нелепые вечерние платья с большими декольте, туфли на высоких каблуках. Все это, конечно, смятое, затасканное. Какая-то «убогая роскошь наряда».

Нушик приходит мне на помощь.

— Что ты, дурочка! Какие там «легкого поведения»! Все четверо — члены партии. Это гости Рудзутака. Все были арестованы у него в гостях, ужинали после театра, и туалеты театральные. Уже три месяца прошло, а передачу не разрешают. Вот и маются, бедняги, в тюрьме с этими декольте. Я уж вон той, пожилой, вчера косынку подарила. Как говорится, хоть наготу прикрыть.

Все 39 человек одеваются быстро, боясь опоздать на opravку. В камере стоит приглушенный гул от всеобщих разговоров. Многие рассказывают соседкам свои сновидения.



— Почти все суеверными стали, — говорит Нушик, — вон там, у окна, старуха. Каждое утро сны рассказывает и спрашивает, к чему бы. А вообще-то она профессор... А вон ту видишь? Ребенок, правда? Ей 16 лет. Ниночка Луговская. Отец — эсер, сидел с 35-го, а сейчас всю семью взяли — мать и трех девочек. Эта — младшая, ученица восьмого класса.

И вот мы все — со мной 39, из которых самой младшей 16, а самой старшей, старой большевичке Сыриной, — 74 — находимся в большой, не очень грязной уборной, тоже напоминающей вокзальную. И все торопимся, точно поезд наш уже трогается. Надо все успеть, в том числе и простирнуть белье, что строго запрещено. Но приходится рисковать. Ведь большинству передачи не разрешают и люди обходятся единственной сменой белья.

За Ниночкой Луговской все ухаживают. Ей стирают штанишки, расчесывают косички, ей дают дополнительные кусочки сахара. Ее осыпают советами, как держаться со следователями.

Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости к молодым и старикам. Катя Широкова, или вот эта Ниночка, которая чуть постарше нашей Майки... Или Сурина... Почти на 20 лет старше мамы.

Да, это было большим преимуществом моего положения. Счастье, что мне уже за тридцать! И счастье, что еще за тридцать только. У меня свои зубы, я вижу без очков (а очки у всех отняли и все близорукие и дальновзоркие мучаются страшно!), и желудок и сердце и все другие органы работают у меня отлично. А в то же время я уже окрепла душевно, не ломаюсь, как эти тростиночки — Нина, Катя...

Значит, выше голову! Я еще счастливее многих. Только вот одно. Мне кажется, что я больше всех страдаю от униженности всего, что со мной, со всеми нами проделывают. Кажется, предпочла бы самые тяжелые физические страдания этому сверлящему чувству растоптанности, поруганности.

А от этого надо избавляться вот как: каждую минуту твердить себе, что они не люди, те, кто все это делает. Ведь я бы не чувствовала себя оскорбленной, если бы в моих волосах рылась свинья или обезьяна, ища там «вещественные улики» моих преступлений!

## Глава двадцать шестая

### ВЕСЬ КОМИНТЕРН

Надзирательница не разрешила мне войти вместе со всеми в камеру.

— Подождите.

И заперев двери за вошедшими женщинами (я даже не

успела попрощаться с Нушик), она ведет меня дальше по коридору и указывает на открытую дверь:

— Сюда!

Камера точно такая же, как и та, в которой я ночевала, пуста и открыта. Обитательниц увели на opravку.

— Вот ваша койка, — показывает надзирательница на одну из раскладушек, недалеко от двери, а значит — и от параша.

Но в целом обстановка мне нравится. Сквозь матовый щит просачивается солнце. 35 раскладушек аккуратно застелены. А главное... Не обманывает ли меня зрение? Нет, именно так: на каждой постели — книги. Я дрожу от восторга. Родные мои, неразлучные мои, ведь я не видала вас почти полгода! Шесть месяцев почти я не перелистывала вас, не вдыхала терпкого запаха типографской краски. Беру первую попавшуюся. «Туннель» Келлермана на немецком. Вторую! Томик Стефана Цвейга, и тоже на немецком. А вот Анатолий Франс по-французски, Диккенс — по-английски...

Очень быстро убеждаюсь в том, что все находящиеся здесь книги — иностранные. Обращаю внимание на предметы одежды, разбросанные по раскладушкам. На этих тряпках, помятых и затрепанных, тоже какой-то заграничный налет. Неужели я попала в камеру иностранок?

Поворот ключа. Двери снова открываются, и в камеру входят 35 женщин. Их стайка гудит сдержанным разноязычным гулом. Они замечают меня и окружают плотным кольцом. Доброжелательные лица. Немецкие, французские и ломаные русские вопросы. Кто я? Когда взяли? Что нового на воле?

Отвечаю по-русски. Потом тоже спрашиваю:

— А вы кто, товарищи? Вижу, что иностранки, но какого типа — не пойму.

Стоящая впереди худенькая блондинка лет 28 протягивает мне руку.

— Сделаем знакомств... Грета Кестнер, член КПГ. А это моя... ви загт ман? Другиня? Нихт? А-а... По-друга. Клара. Она бежалъ от Гитлера. Долго была гестапо.

Клара очень черная. Скорей похожа на итальянку, чем на немку. Она выжидательно смотрит на меня и кивком головы подтверждает слова Греты.

Еще одна высокая блондинка.

— Член Компартии Латвии, — без всякого акцента говорит она по-русски.

— Коммунисто итальяно...

Улыбающаяся китайка, возраст которой трудно определить, обнимает меня за плечи и называет себя членом Компартии Китая.

— По-русски меня зовут Женей, — говорит она, — Женя Коверкова. Училась в Москве, в Университете имени Сун Ят-сена. Нам всем там русские фамилии дали. А вы кто, товарищ?

Все страшно оживляются, узнав, что я член Коммунистической партии Советского Союза.

Вопросы, вопросы... Какие подробности о деле военных? На свободе ли Вильгельм Пик? Правда ли, что взяты все латышские стрелки? Когда начнется процесс Бухарина—Рыкова? Верно ли, что был июльский Пленум ЦК и на нем Сталин выступал с требованием об усилении режима в тюрьмах?

Для меня все эти вопросы — новости. Объясняю, что сижу дольше их всех. Привезли из провинции на суд военной коллегии. Постепенно группа вокруг меня рассасывается, и я остаюсь в обществе двух немок — Греты и Клары. Я говорю по-немецки с такими же ошибками в родах существительных, как они по-русски. Тем не менее мы оживленно беседуем на обоих языках сразу, и этот волапюк отлично устраивает обе стороны.

— В чем же обвиняют вас, Грета?

Голубые «арийские» глаза блестят непролитыми слезами.

— О, шреклик! Шпионаже...

В двух-трех фразах она рассказывает о своем муже — «Айн вирклихе берлинер пролет». О себе — с 15 лет юнгштурмовка. Но она-то еще ничего, а вот Клархен...

Клара ложится на раскладушку, резко поворачивается на живот и поднимает платье. На ее бедрах и ягодицах — страшные уродливые рубцы, точно стая хищных зверей вырывала у нее куски мяса. Тонкие губы Клары сжаты в ниточку. Серые глаза как блики светлого огня на смуглом до черноты лице.

— Это гестапо, — хрипло говорит она. Потом так же резко садится и, протягивая вперед обе руки, добавляет:

— А это НКВД.

Ногти на обеих руках изуродованные, синие, распухшие.

У меня почти останавливается сердце. Что это?

— Специальный аппарат для получений... это... ви загт ман? а-а-а... чистый сердечный признаний...

— Пытки?..

— О-о-о... — Грета горестно покачивает головой, — придет ночь — будешь слышала.

Кто-то на чистейшем русском языке окликает меня:

— Можно вас на минутку, товарищ?

Оказывается, кроме меня здесь есть еще несколько человек советских. Окликнувшая меня женщина — это Юлия Анненкова, бывший редактор немецкой газеты, издающейся в Москве. Ей под сорок. Лицо не из красивых, но яркое, запоминающееся. Похожа на гугенотку. Мрачный пламень в глазах. Она берет меня под локоть, отводит в сторону и доверительно шепчет:

— Вы поступили совершенно правильно, не ответив на вопросы этих людей. Кто знает, которая тут — настоящий враг, а которая — жертва ошибки, как мы с вами. Будьте и дальше осторожны, чтобы не наделать настоящих преступлений против партии. Лучше всего молчать...

— Но ведь я действительно ничего не знаю. Привезена из провинции, сию уже полгода. Может быть, вы знаете, что творится в стране?

— Измена! Страшная измена, проникающая во все звенья партийного и советского аппарата. Изменниками оказались многие секретари крайкомов и ЦК нацкомпартий. Постышев, Хатаевич, Эйхе, Разумов, Иванов, предсовконтроля Антипов, много военных...

— Но если все изменили одному, то не проще ли подумать, что он изменил всем?

Юлия бледнеет. Секунду молчит, потом резко бросает:

— Простите. Я ошиблась в вас.

Она отходит, а меня перехватывает другая русская — Наташа Столярова. Ей 22 года, она похожа на школьницу со своими русыми косичками и крупинками веснушек на круглом лице. Наташа — эмигрантское дитя. В возрасте 5—6 лет оказалась с родителями в Париже. Там протекло ее двуязычное детство. Несколько лет назад вернулась в Москву, репатриировалась. Бурно вдыхала русский воздух, наслаждалась чистой русской речью. Работала переводчицей. И вот...

Наташа тоже говорит мне об осторожности.

— Вы очень доверчивы. Зачем вы этой Юлии так отбрили? Видите ведь, какой у нее лик иконоборческий. Такие по идейным соображениям сексотами становятся. А зачем вам лишние козыри в следовательские руки?

Наташа уверяет меня, что на ее «свежий взгляд» все понятнее, чем нам.

— Кавказский узурпатор, поверьте, пострашнее своих французских предшественников. Секир башка — и все тут!

— Но неужели он сознательно идет на уничтожение лучшей части партии? На что же тогда ему опереться?

— А вот придет ночь — услышите, на кого он опирается.

— Но ведь я уже провела ночь в соседней камере. Ничего не слышала.

— А это потому, что вас перед самым рассветом привели. А у них время пыток — до трех. Вон немки, побывавшие в гестапо, уверяют, что тут не обошлось без освоения опыта. Чувствуется единый стиль. В командировку заграничную посылали их, что ли?

Жестокие надрывные слова, произносимые Наташей, так не соответствуют ее школьным косичкам. На косичках пляшут коротенькие солнечные блики, притушенные матовым стеклом оконных щитов. Жизнь, свет, доброта то и дело прорезают нависшую над нами тьму.

Вот Грета описывает своей соседке Кларе изумительный фасон платья, в котором она была последний раз на первомайском вечере в Большом театре. И в глазах Клары вспыхивают огоньки любопытства. Она тоже делится какими-то секретами туалета и очерчивает в воздухе линию красивого лифа. Да,

очерчивает эту линию своими синими пальцами с раздавленными ногтями.

А вот китаянка Женя Коверкова показывает «отличные упражнения для ног» сухопарой польке Ванде. И обе, воровато озираясь (на глазок в двери, ложатся на спины прямо на пол и делают «велосипед» озабоченные сохранением фигуры, которая может пострадать от дневного валянья, от тюремной неподвижности, от питания перловой кашей и овсяной баландой.

Но вот прошли обед и ужин. Вечерняя оправка. Проверка. Отбой. Все ложатся и ждут. Сейчас оно начнется. Неотвратимое, как смерть.

## Глава двадцать седьмая

### БУТЫРСКИЕ НОЧИ

В этот вечер общее настроение омрачилось больше инцидентом во время поверки. По бутырским правилам счет людского поголовья велся не по головам, а по кружкам.

Перед поверкой каждый должен был поставить на стол свою кружку. Следила за этим староста камеры. Дежурные надзиратели и корпусные просчитывали кружки и уходили, сделав ряд привычных замечаний вроде: «Громко не разговаривать!», «Как отбой — все спать!»...

Сегодня дежурный, считавший кружки, был на редкость бестолков. Он пересчитывал несколько раз, переставлял более симметрично, сбивался со счета, начинал сначала, забавно слюнул большой палец правой руки.

Первой фыркнула смешливая Женя Коверкова, за ней другие. А когда церемония поверки окончилась и старшие дежурные со свитой важно удалились, камеру охватил приступ того безудержного смеха, который иногда звучит в тюрьмах. Как бы компенсируя себя за постоянное горе, тоску, тревогу, люди хохочут, придравшись к самому незначительному поводу. Хохочут гомерически, явно несоразмерно комичности случая. Остановить такой приступ смеха нелегко.

И в данном случае призывы к тишине со стороны нескольких благоразумных оставались напрасными.

— Замолчите!

Этот пронзительный выкрик нельзя было не услышать. Юлия Анненкова, с искаженным, побледневшим лицом, подняла руку движением боярыни Морозовой.

— Вы не смеете издеваться над ним. Он здесь представляет Советскую власть. Он исполняет свои обязанности. Вы не смеете, не смеете!

Смех оборвался, точно топором обрубили. Высокая рассудительная немка Эрна быстро заговорила по-немецки, доказывая Юлии, что смех вызван «комичностью этого субъекта, независимо от его общественных функций». Все так же смеялись бы,

будь он не надзирателем, а таким же заключенным, как мы.

Чей-то голос из уголка, где сидело несколько полек, явственно пробормотал «Пся крел!», и нельзя было понять, относится ли это к надзирателю или к Юлии.

А она, не слушая ничего, судорожными движениями стащила с себя одежду, легла и укрылась с головой, как бы демонстрируя свою отъединенность от соседок, в каждой из которых ей, ортодоксальной сталинке, чудился «настоящий враг».

Подавленные, все быстро улеглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, пожилая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка с картины Архипова. Этой женщине предъявлялось обвинение, что она кутила с иностранцами в шикарных ресторанах, соблазняла дипломатов, выуживая у них секретные сведения. Это ведь был июль 1937 года, и никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях.

Перед тем как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие желтые волосы и, вытащив из-под соломенной подушки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила:

— Меня взяли еще зимой. У меня есть зимнее пальто. Я из него выдергиваю вату.

— Но зачем затыкать уши?

Милда устало пожимает плечами.

— Чтобы не слышать. Чтобы спать.

Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить, так уж до дна. И я выпила чашу до дна в ту жаркую июльскую ночь 1937 года.

Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры. Под ночные допросы в Бутырьках было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно оборудованного по последнему слову палаческой техники. По крайней мере Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток безусловно вывезены из гитлеровской Германии.

Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какафонию ужаса прорезывало короткое, как удар бича, «мать! мать! мать!» Третьим слоем в этой симфонии были стуки бросаемых стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь.

Хотя это были только звуки, но реальное восприятие всей картины было так остро, точно я разглядела ее во всех деталях. Они все казались мне похожими на Царевского, эти следователи. А глаза их жертв стояли передо мной, с этим своим

выражением... Нет, не могу найти слов, чтобы его передать. Я до сих пор узнаю «бывших» по остаткам этого выражения где-то в глубине зрачка. И до сих пор, до шестидесятих годов, поражаю людей, встретившихся на курорте или в поезде, колдовским вопросом: «Вы сидели? Реабилитированы?»

Сколько это может длиться? Говорят — до трех. Но ведь этого нельзя вынести больше одной минуты. А оно тянется, тянется, то ослабевая, то вновь взрываясь. Час. И второй. И третий. Четыре часа. До трех ежедневно.

Я сажусь на постели. Мне вспоминается какая-то древняя восточная поговорка: «Не дай бог испытать то, к чему можно привыкнуть». Да. Привыкли. И к этому привыкли. Большинство спит или по крайней мере лежит спокойно, закрывшись с головой одеялами, несмотря на страшную духоту. Только несколько новеньких подобно мне сидят на койках. Некоторые заткнули уши пальцами, некоторые просто как бы окаменели. Время от времени открывается дверная форточка, появляется голова надзирательницы:

— Всем спать! Нельзя сидеть после отбоя.

— А-а-а! — раздается вдруг крик отчаяния не «там», а совсем рядом.

Молодая женщина с длинной растрепавшейся косой бросается к окну. Все забыв, в исступлении бьет о раму руками и головой.

— Он! Это он! Его голос, я узнала... Не хочу, не хочу, не хочу больше жить! Пусть убьют скорее...

Многие вскакивают, окружают женщину, оттаскивают от окна, убеждают, что она ошиблась. Это не голос ее мужа.

Нет, нет, пусть ее не успокаивают. Его голос она узнает из тысячи. Это его, его там терзают, уродуют, а она должна лежать здесь и молчать. Нет! Она будет кричать и скандалить. Может быть, тогда ее скорее убьют, а ей только того и надо. Все равно ведь после этого жить нельзя...

В коридоре движение. Распахиваются двери. Появляется надзирательница в сопровождении корпусного. Он четким профессиональным движением выворачивает бьющейся в припадке женщине руки назад, потом вливает ей насильно в рот какую-то жидкость из стакана, приговаривая:

— Пейте! Это аверьяновка.

Навряд ли. Навряд ли от валерьянки женщина так быстро упала на койку, закрыла глаза и погрузилась мгновенно в странный сон, похожий на смерть.

Тишина в камере восстановлена. Милда поднимает голову, шуршит соломенной подушкой и снова предлагает мне вату для ушей.

— Не надо. Лучше скажите, кто эта женщина.

— Эта? Одна из полек. Их в том углу семь. Муж ее русский, советский. Молодожены. И ребенок остался трехмесячный. Ей здесь грудь бинтовали, чтоб пропало молоко. Главное, ее

мучит мысль, что мужа взяли из-за нее, за связь с иностранкой...

Время близится к трем. Становится все тише. Вот еще раз грохнул брошенный об пол стул. Вот еще раз гукнуло и отдавалось многократным эхом «мать-мать-мать!». Еще одно подавленное мужское рыдание. И — тишина.

Мысленно вижу, как, шатаясь, выходят из камер пыток окровавленные, истерзанные жертвы. Некоторых выносят. Вижу, как следователи складывают в столы свои бумаги.

— Дайте вату, — прошу я соседку Милду.

— Теперь уже не надо. Больше ничего не будет до завтра.

— Все равно. Дайте.

Она удивленно пожимает плечами, но дает мне комок серой одежной ваты. Я затыкаю оба уха. Натягиваю на голову тюремное одеяло, пахнущее пылью и горем, вцепляюсь зубами в угол соломенной подушки. Вот так как будто легче. Не слышу и не вижу. Если бы можно еще и не сознавать...

Чтобы заснуть, надо десять, нет, сто раз прочесть про себя какие-нибудь стихи. И я твержу:

Отрадно спать,  
Отрадней камнем быть.  
Нет, в этот век,  
Ужасный и постыдный,  
Не жить, не чувствовать —  
Удел завидный!  
Не тронь меня,  
Не смей меня будить.

Это написал Микеланджело...

#### Глава двадцать восьмая

### С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА ОТ ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ

В Бутырках изоляция от внешнего мира была гораздо более полной, чем в казанских тюрьмах. Камеры комплектовались по принципу — «на одном уровне по ходу следствия». Поэтому к нам совсем не поступали люди с воли. Если и приходили новенькие, то у всех, так же как и у меня, следствие или было закончено или приближалось к концу.

И мы жестоко томились, не зная ничего. Тем не менее сложился какой-то быт. Кошмарные ночи сменялись хлопотливыми днями. Хлопот была масса. С самого подъема до отбоя почти не было свободного времени. Церемония выноса гигантской парашаи, долгие, с очередями, оправки, тоекратная раздача пищи, которая доставлялась в больших ведрах, мытье посуды, починка разлезаящихся чулок и лифчиков (передачи здесь почти никому не разрешались), прогулка, запись на «лавочку»



тех счастливиц, у кого на наличном счету было немного денег, обмен книг, поверки, переключки — все это заполняло без остатка и даже переполняло наши дни. Днем наша камера была похожа на трюм корабля, застигнутого бедствием и давно уже плавающего по бурным водам. И, так же как на терпящем бедствии судне, люди делились на подчеркнуто-спокойных, экзальтированных и малодушных. Последних, правда, было довольно мало.

Дня через два после моего прихода в камеру произошел инцидент, связанный с кормлением птиц остатками хлеба. До сведения Попова, начальника Бутырской тюрьмы, дошли слухи, что мы каждый вечер разбрасываем крошки из окон, что предавшие об этом воробьи слетаются на окна тучами, устраивая страшный ералаш, перелетая через стеклянные щиты, наполняя камеру неистовым щебетом и вызывая ответное радостное оживление среди заключенных.

Попов ворвался в камеру в неурочное время, окруженный почетным эскортом надзирателей, и срывающимся от гнева голосом произнес короткую энергичную речь, в которой красной нитью проходила мысль — «вам здесь не курорт». Каждая фраза заканчивалась рефреном: «Не забывайте, что вы в тюрьме, да еще в Бутырской!»

Однако карцеров, лишений прогулки или библиотеки не последовало. Говорили, что Попов — человек не злой, больше склонный к чтению нотаций, чем к расправам.

В дальнейшем жизнь дала ему возможность оценить реальное содержание его излюбленной формулы «...да еще Бутырская». Через два-три месяца он превратился из начальника тюрьмы в одного из ее узников.

Время от времени кого-нибудь из нас вызывали. Если «с вещами» — все бледнели и по камере летели шелестящие, произносимые пересохшими губами слова: «на суд» или «срок объявить». Мы уже знали, что некоторые получают срок по суду, а другие — по так называемому Особому совещанию НКВД, заочно. Но о содержании приговоров еще ничего не было известно. По этому поводу шли постоянные страстные споры. Кое-кто часто произносил леденящие слова: «вышка», «десятка». Но большинство с возмущением отвергало такие прогнозы. Широко ходил известный силлогизм: «Уж если Зиновьеву и Каменеву, Пятакову и Радеку — по 10, то нам-то, мелкой сошке...»

Когда кого-нибудь вызывали «без вещей», камеру охватывало волнение другого рода. Стоило закрыться двери, повернуться ключу вслед за вызванной, как в разных углах камеры начинались зловещие шепоты:

— Странно. Чего это ее вызвали? Ведь следствие давно закончено.

— Ну что вы! Она порядочный человек.

— Как будто бы... Но все же...

— А я-то, как назло, вчера вечером разоткровенничалась...

Это был точно острый приступ психоза. Хорошие люди, только что по-дружески относившиеся друг к другу, неожиданно начинали видеть в своих соседях потенциальных «сексотов», провокаторов. Часто люди потом стеснялись этих приступов взаимного недоверия, подозрительности, этого ощущения «волка среди волков». Но проходило несколько часов, снова вызывали кого-нибудь без вещей, и снова все цепенели от ужаса. Что, как эта вызванная сейчас выложит следователю все, что говорилось вчера в камере?

И когда в яркий летний день открылась дверная форточка и надзирательница негромко назвала мою фамилию, меня прежде всего охватило чувство неловкости. Без вещей! Чего это! Ведь так и про меня могут подумать в камере...

Любопытно, как в травмированной психике заключенного происходит смещение планов. Я сидела в Бутырьках уже три недели, и это был мой первый вызов. Казалось бы, я должна была сразу подумать о суде, о приговоре, о жизни и смерти. Но нет! Одна мысль — не подумали бы обо мне плохо мои соседки по камере. Ведь у них такая мода: как кого вызовут без вещей, так они сразу думают, что...

Почти механически подчиняясь приказам конвоира, шепотом указывавшего мне направление, я шла лабиринтом бутырских коридоров, пока не поняла, что я снова на «вокзале».

— Сюда!

Короткое щелканье затвора — и я опять в «собачнике» — в стоячей, выложенной изразцами клетке. Повезут куда-то?

Снова теряю ощущение времени и не знаю, час или пять минут я стою здесь, прислонясь к холодной стене. Плитки изразца сверкают в лучах сильной лампочки. Если закрыть глаза, то плитки все равно не исчезают, а только становятся темнее. Но ведь не оставят же меня здесь навсегда.

Затвор щелкает. В дверях молодой офицерик.

— Ознакомьтесь! — И сует мне в руки бумагу. Прежде чем успеваю спросить что-нибудь, запирает меня снова.

Обвинительное заключение по делу... Подпись Вышинского. Санкционировано им. Я вспоминаю его в вышитой украинской рубашке. На курорте. Хилая, костлявая жена и дочка Зина, с которой я ходила каждый день на пляж. Вспомнил ли он меня, подписывая эту бумагу? Или в затуманенном кровавой пеленой взоре все имена и фамилии слились в одно? Ведь мог же он отправить на казнь своего старого друга, секретаря Одесского обкома Евгения Вегера. Так чем же могла остановить его руку фамилия курортной приятельницы его дочки?

Скользну глазами по «преамбуле» обвинительного заключения. Тут не во что вчитываться. Все та же газетная жвачка. «...Троцкистская террористическая контрреволюционная группа... ставившая целью реставрацию капитализма и физическое уничтожение руководителей партии и правительства».

Повторенные миллионы раз, эти формулировки, которые вначале потрясали, — стерлись и стали восприниматься именно как тошнотворная жвачка, как некая «присказка», вроде «в некотором царстве, в некотором государстве»... Никто уже в эту «присказку» не вслушивался, а ждали, замирая, когда же кончится она и начнется самая сказка, в которой появится Великий Людоед.

После «присказки» в моем обвинительном заключении шел список «членов контрреволюционной троцкистской террористической организации при редакции газеты „Красная Татария“». Опять ни тени правдоподобия! В список попали люди, никогда в редакции не работавшие и даже такие, которые давно уехали в другие города и во время «преступлений» отсутствовали. Потом окажется, что те из них, кто уехал вовремя подальше, так никогда и не были арестованы. Дальше, дальше... Ага, вот наконец заговорил и сам Людоед. Это уже не присказка, а сказка. «На основании вышеизложенного... передается суду военной коллегии... по статьям 58—8 и 11 Уголовного кодекса... с применением закона от 1 декабря 1934 года».

Теперь кровь ударяет в виски уже не мелкой дробью, а гулким редким прибоем. Что за закон? Дата его не сулит ничего хорошего.

Офицерик снова распахивает дверь собачника. Теперь я фиксирую его наружность. Под острым носиком — усики мушкой. «Дурачок с усиками», жандармик из пьесы Горького «Враги».

Откуда-то издали слышу повторенный несколько раз вопрос:

— Ознакомились с обвинительным заключением? Все ясно?  
— Нет. Я не знаю, что значит закон от первого декабря.

Офицерик смотрит удивленно, точно я спросила его, что такое земля или море. Пожав плечами, разъясняет:

— Закон этот гласит, что приговор приводится в исполнение в течение 24 часов с момента вынесения.

24 часа. Да еще до суда тоже 24. В камере мне разъяснили, что после вручения обвинительного заключения на другой день обычно везут в суд. Итого — 48 часов. Это мне осталось жить 48 часов.

Была девочка. Женя, Женечка. И мама заплетала ей косички. Была девушка. Влюблялась. Искала смысла в жизни. И были расцветные женские годы — 27—28. И были Алеша с Васей. Сыновья.

В камере мертвая тишина. Здесь это первый случай. Отсюда еще никто не шел на военную коллегию. Всем—«тройка», «особое», в крайнем случае — трибунал. И никому еще не предъявляли такого обвинительного заключения. Чтобы с оговоркой, что в 24 часа. Сомнений в моей завтрашней судьбе нет ни у кого.

Меня гладят по косам, с меня снимают туфли, мне суют в рот каким-то чудом пронесенный через все обыски порошок

веронала. Но он не помогает. Организм не хочет тратить на сон последние часы своего существования.

Всю ночь я сижу за столом в середине камеры, и надзирательница не делает мне замечаний. В людях, окружающих меня, раскрываются «душ золотые россыпи». Трудно поверить, что это те самые, которые подозревали друг друга в черном предательстве. Они заучивают наизусть имена моих детей и адреса родных, чтобы в случае, если сами уцелеют, рассказать им о моих последних часах.

Трудно, почти невозможно передать ощущения и мысли смертника. То есть передать, наверно, можно, но для этого надо быть Львом Толстым. Я же, вспоминая ту ночь, могу только отметить какую-то странную резкость в очертаниях всех предметов и мучительную сухость во рту. Что касается потока мыслей, то если бы его воспроизвести в точной записи, то получились бы странные вещи.

Успевают ли люди почувствовать боль, когда в них стреляют? Господи, как же теперь Алеша и Вася будут анкеты заполнять! Как жалко новое шелковое платье, так и не успела надеть ни разу... А шло оно мне...

Вот так, или примерно так, текли мысли.

На столе лежали какие-то книги. Открыла одну. Баранский. Экономическая география. Это хорошо. Посмотреть еще раз карту. Мир. Вот он. Вот здесь Москва. Я родилась в ней, и в ней же мне суждено умереть. Вот Казань. Сочи. Крым. А вот вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу.

На рассвете несколько воробьев, еще не узнавших, очевидно, о том, что «здесь нам не курорт» и что начальник Бутырской тюрьмы Попов категорически запрещает общение птиц с заключенными, бойко взлетели на верхушку стеклянного щита. Их хвостики потешно вздрагивали. Радостными голосами они приветствовали наступление самого царственного месяца в году. Это было утро первого августа 1937 года.

#### Глава двадцать девятая

### СУД СКОРЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ

В Лефортовской тюрьме все двери открываются бесшумно. Шаги тонут в мягких дорожках. Конвойные изысканно вежливы. В «собачниках» есть табуретки, можно сидеть, а изразцовые стены так белы и блестящи, что напоминают операционную.

Одинокая камера, куда меня привезли этим утром первого августа, чиста, как больничная палата, а надзирательница похожа на кастеляншу дома отдыха.

Здесь я буду ждать суда. «Чем вежливей и чище, тем ближе к смерти», — вспоминаю я инструктаж Гарая.

Несмотря на это, обстановка вызывает у меня желание подтянуться внешне. Я достаю из своего узла «кобеднишнее» синее

платье, долго выравниваю смявшиеся складки, накручиваю локонны на пальцы, пудрю нос зубным порошком. Все это я делаю почти механически. Ничего удивительного. Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной. И жена Камиль Демулена. Не говоря уж про Марию Стюарт. Но все эти мысли идут как бы сами по себе, а огромная холодная жаба, распластавшаяся под самым сердцем, тоже сама по себе. Ее не прогоншь ничем.

И вот пришел мой час. За столом военная коллегия Верховного суда. Трое военных. Сбоку секретарь. Перед ними — я. По сторонам от меня — два конвоира. В такой обстановке «широкой гласности» начинается «судебное следствие».

Напряженно вглядываюсь в лица своих судей. Поражает их разительное сходство друг с другом и еще почему-то с тем корпусным на казанском Черном озере, который отбирал часы. Все на одно лицо, хотя один из них брюнет, другой убелен сединами. Ах вот в чем дело! Это выражение глаз делает их одинаковыми. Взгляд маринованного судак, застывшего в желе. Да оно и понятно. Разве можно нести вот такую службу ежедневно, не отгородив себя чем-то от людей? Ну хотя бы вот таким взглядом?

Стало очень легко дышать. Это из открытого настежь окна повеял летний ветер удивительной чистоты. Прекрасная комната с высоким потолком. Ведь есть же такие на свете!

На больших темно-зеленых деревьях под окнами шелестят листья. Этот звук — таинственный и прохладный — потрясает меня. Я, кажется, раньше никогда его не слышала. Это трогательно, когда они шелестят. Почему я раньше не замечала этого?

И часы на стене... Круглые, большие, с блестящими усами стрелок. Как давно я не видела ничего подобного. Отмечаю время начала и конца процедуры.

Семь минут! Вся трагикомедия длится ровно семь минут, ни больше ни меньше. Голос председателя суда — наркомюста РСФСР Дмитриева — похож на выражение его глаз. Действительно, если бы маринованный судак заговорил, то у него оказался бы именно такой голос. Здесь нет и тени того азарта, который вкладывали в свои упражнения мои следователи. Судьи только служат. Отрабатывают зарплату. Вероятно, и норму имеют. И борются за перевыполнение.

— С обвинительным заключением знакомы? — невыносимо скучным голосом спрашивает меня председатель суда. — Виновной себя признаете? Нет? Но вот свидетели же показывают...

Он перелистывает страницы пухлого «дела» и цедит сквозь зубы:

- Вот, например, свидетель Козлов...
- Козлова. Это женщина, притом подлая женщина.
- Да, Козлова. Или вот свидетель Дьяченко...
- Дьяконов...
- Да. Вот они утверждают...

Что именно они утверждают, председатель суда узнать не удосужился. Прерывая сам себя, он снова обращается ко мне:

— К суду у вас вопросов нет?

— Есть. Мне предъявлен 8-й пункт 58-й статьи. Это обвинение в терроре. Я прошу назвать мне фамилию того политического деятеля, на которого я, по вашему мнению, покушалась.

Судьи некоторое время молчат, удивленные нелепой постановкой вопроса. Они укоризненно глядят на любопытную женщину, задерживающую их «работу». Затем тот, что убелен сединами, мямлит:

— Вы ведь знаете, что в Ленинграде был убит товарищ Киров?

— Да, но ведь его убила не я, а некто Николаев. Кроме того, я никогда не жила в Ленинграде. Это, кажется, называется «алиби»?

— Вы что, юрист? — уже раздраженно бросает седой.

— Нет, педагог.

— Что же вы казуистикой-то занимаетесь? Не жили в Ленинграде!.. Убили ваши единомышленники. Значит, и вы несете за это моральную и уголовную ответственность.

— Суд удаляется на совещание, — бурчит под нос председатель. И все участники «действия» встают, лениво разминая затекшие от сидения члены.

Я снова смотрю на круглые часы. Нет, покурить они не успели. Не прошло и двух минут, как весь синклит снова на своих местах. И у председателя в руках большой лист бумаги. Отличная плотная бумага, убористо исписанная на машинке. Длинный текст. Чтобы его перепечатать, надо минимум минут двадцать. Это приговор. Это государственный документ о моих преступлениях и о следующем за ними наказании. Он начинается торжественными словами: «Именем Союза Советских Социалистических Республик...» Потом идет что-то длинное и невразумительное. А-а-а, это та самая «присказка», что была и в обвинительном заключении. Те же «имея целью реставрацию капитализма...» и «подпольная террористическая...» Только вместо «обвиняется» теперь везде: «считать установленным».

Кажется, он немного гундосит, этот председатель. И как медленно он читает. Перевернул страницу. Сейчас... Вот сейчас скажет: «К высшей мере»...

Опять шорох листьев. На секунду кажется, что это все в кино. Я играю роль. Ведь немислимо же поверить, что меня на самом деле скоро убьют. Ни с того ни с сего... Меня, мамину Женюшку, Алешину и Васину мамулю... Да кто дал им право?

Мне кажется, что это я кричу. Нет. Я молчу и слушаю. Я стою совсем спокойно, а все то страшное, что происходит, — это внутри.

На меня надвигается какая-то темнота. Голос чтеца сквозь эту тьму просачивается ко мне, как далекий мутный поток. Сейчас меня захлестнет им. Среди этого бреда вдруг отчетливо

различаю совершенно реальный поступок конвоиров, стоящих у меня по сторонам. Они сближают руки у меня за спиной. Это чтобы я не стукнулась об пол, когда буду падать. А разве я обязательно должна упасть? Ну да, у них, наверно, опыт. Наверно, многие женщины падают в обморок, когда им прочитывают «высшую меру».

Темнота снова надвигается. Сейчас захлестнет совсем. И вдруг...

Что это? Что он сказал? Точно ослепительный зигзаг молнии прорезает сознание. Он сказал... Я не ослышалась?

...К десяти годам тюремного заключения со строгой изоляцией и с поражением в правах на пять лет...

Все вокруг меня становится светлым и теплым. Десять лет! Это значит — жить!

...И с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества...

Жить! Без имущества! Да на что мне оно? Пусть конфискуют! Они ведь разбойники, как же им без чужого имущества! Мое-то им вряд ли пригодится... Ну книги, ну платья... Даже приемника у нас нет. Ведь мой-то муж — настоящий старый коммунист, ему не нужны были ваши бьюики и мерседесы... Десять лет... И вы думаете еще десять лет разбойничать тут, судаки маринованные? Вы всерьез надеетесь, что в партии не найдется людей, которые схватят вас за руку? А я знаю — есть такие люди... И рано или поздно — конец вам придет... И ради того, чтобы увидеть этот конец, надо жить. Пусть в тюрьме, все равно! Жить!

Если бы они смотрели в лица своим жертвам, они, наверно, прочли бы в моих глазах все эти немые выкрики. Но они не смотрят на меня. Отчитав, они быстрым шагом направляются «с колокольни долой». Гуськом выходят из комнаты. Теперь у них, наверно, перекур. А там опять... Норма большая.

Я оглядываюсь на конвоиров, все еще держащих за моей спиной скрещенные руки. Каждая жилочка во мне трепещет восторгом бытия. Лица конвоиров кажутся мне симпатичными. Простые парни. Рязанские или курские. Чем они виноваты? По мобилизации, наверно. И руки вот скрестили, хотели поддержать. Но это они напрасно. Я не буду падать.

Я вдруг встряхиваю локонами, закрученными перед судом для того, чтобы не осрамиться перед тенью Шарлотты Корде. Потом дружелюбно улыбаюсь конвоирам, которые с удивлением смотрят на меня.

#### Глава тридцатая

### «КАТОРГА! КАКАЯ БЛАГОДАТЬ!»

— Обедать вы не будете? — спрашивает меня надзирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть.

— Обедать? Почему не буду? Обязательно буду, — весело отвечаю я и в ожидании обеда оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор не смертный, то в Лефортове не держат, а отправляют обратно в Бутырки.

И я с удовольствием жду отправки. Там общая камера. Люди. Товарищи по несчастью.

Приносят обед. Не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша с маслом. Манная... Гу-манная... Это из гуманных соображений, видимо, такой хороший обед дают приговоренным к казни, которых в этой тюрьме так много. Согласно традициям, оставшимся от гнилого либерала — Николая II.

Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно все есть, хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь. Назло им! Я вся охвачена мощным чувством — желанием дожить до конца этой трагедии в нашей партии. Именно в эти минуты я больше чем когда-нибудь уверена, что всю партию они не уничтожат, что найдутся силы, способные остановить преступную руку. Дожить, дожить до этих дней... Сцепив зубы... Сцепив зубы...

Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Пастернака из поэмы «Лейтенант Шмидт»:

Версты обвинительного акта...  
Шапку в зубы! Только не рыдать!  
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта!  
Каторга! Какая благодать!

Слова эти вдруг потрясают до основания. Настоящая цена поэтических строк проверяется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту. Откуда он узнал, что чувствуют именно так? Он, обитатель московской «квартиры, наводящей грусть»... Читаю дальше:

...Остальных пьянила ширь весны и каторги...

Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру, этот приговор, этих убийц с судачьими глазами.

Темнеет. Окно здесь тоже закрыто не только решеткой, но и щитом. Почему-то долго не зажигают свет. Скорее бы в Бутырки! Здесь, в Лефортове, из каждого угла смотрит Смерть. Я кладу голову на стол и мысленно читаю наизусть «Лейтенанта Шмидта» от начала и до конца. Меня страшно волнуют строки:

Ветер гладил звезды горячо и жертвенно,  
Вечным чем-то, чем-то зиждущим, своим...



Я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну.

Меня будит все та же сакраментальная формула:

— С вещами!

Уже совсем темно. Из-за решетки и щита видны мерцающие звезды. Те самые, пастернаковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. И изо всех углов, со стен, выкрашенных в темно-багровый цвет, на меня ползет Ужас.

— С вещами!

Да, да, скорее... В Бутырки! Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими, своими людьми. Пусть эта камера похожа на тонущий корабль. Но ведь есть все-таки какой-то шанс, что корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг дантова ада. Здесь только Смерть. И я так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней.

На минуту меня охватывает панический ужас. А вдруг они меня зовут сейчас не в Бутырки, а в подвал? В знаменитый лефортовский подвал, где расстреливают под шум заведенных тракторов... Сколько шептались об этом в общих камерах! Стены этого подвала, наверно, тоже выкрашены темно-багровой краской и на них незаметна кровь.

Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя в руки. Что за чушь! Ведь я сама слышала приговор. Десять лет со строгой изоляцией.

— Готовы?

— Да, да.

Меня ведет длинным коридором мимо ряда одиночек. Двери, двери... Вниз! Последний раз екает сердце. Неужели все-таки подвал? Нет! Вот в лицо ударила струя чистого ночного воздуха. Двор. «Черный ворон».

Меня опять запирают в пахнущий масляной краской ящик, в котором можно только сидеть, но нельзя даже слегка при-встать. Машина трогается. Значит, «домой», в Бутырки. Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась в живых.

И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова и снова твержу себе спасительные строки Пастернака: «Каторга! Какая благодать!» Больше не помогает. Комок подкатывает к горлу и душит. И я раздражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами? Негодяи!

Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить. Колочу изо всех сил кулаками в запертую дверку своей клетки, бьюсь об нее головой.

Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того «пскопского», что в фильме «Мы из Кронштадта». Глу-поватое добродушное лицо, приподнятые, круглые белесые

брови. Слова, которыми он умирят меня, сразу выводят из атмосферы Ужаса. Вроде деревенской домашней размолвки.

— Эй, девка! Чо разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекает... Парни-то и глядеть не станут!

Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человеческое сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он утешал меня.

— Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну ровно ничего плохого не сделала... А они... Ты веришь мне?

— А как же? — удивляется он. — Кабы чего сделала, так рази бы вез я тебя сейчас в Бутырки? Там бы осталась. Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-ту оставлю открыту. Дыши давай! Может, тебе аверьяновки дать? У нас есть... Дыши, дыши, сколь хоть... Никого в машине-то нет... Тебя одну везу, последним рейсом. Забыли бы про тебя, а теперь, ровно царевну, одну волоку через всю Москву...

— Десять лет! Десять лет! За что? Да как они смеют? Разбойники!

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была али бы десять дали! Нынче вот, знашь, сколько за день-то в расход! Семьдесят! Вот сколько... Одних баб, почитай, только и оставили... Троих даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня. Масштабы работы видны и в том, как плохо инструктирован конвой. Бедняга, ведь за этот разговор ему самому могли бы... Но я нема как рыба.

— Ну, оразумелась, что ли? Вот и ладно. А то расшумелась тут, ровно на мужа...

Я выпиваю из его рук «аверьяновку». Мне сразу безумно хочется спать. Машину ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся сон слышу успокаивающий шепот «пскопского»:

— Ни в жисть десять лет не просидишь. Год-два от силы. А там какое ни на есть изобретение сделаешь — и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам...

В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить.

И вообще, как хорошо трястись вот так в «черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, а конвой такой «пскопской» и так плохо выполняет инструкции по обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в Бутырки. Каторга! Какая благодать!

Продолжение следует



## В ЗЕЛЕНОМ ТЕРЕМЕ ЗЕМЛИ

Русская поэтесса и переводчица Валентина ЕЛИЗАРОВА живет в Москве. В 1964 году окончила отделение художественного перевода Литературного института им. Горького СП СССР. Переводила произведения Я. Райниса, М. Неме, Д. Авотыни, А. Элксне, В. Белшевицы, Я. Плотннена, М. Барзды. Стихи и переводы В. Елизаровой публиковались в журналах «Огонек», «Смена», «Вокруг света», «Сельская молодежь», «Даугава», «Драугс», газетах «Правда», «Труд», «Литература ун мансла», в сборниках центральных и республиканских издательств. В переводе В. Елизаровой вышли стихотворные сборники — Я. Райниса: «Ave sol!» (1967), «Конец и начало» (1972), «Посебурьи» (1976), «На любовь отзовись» (1982), «Слово любви» (1988); Д. Авотыни «Цветение камня» (1973).

Все сметет время, все сметет:  
И на заздравном пепелище  
Травинка новая взойдет  
И старые миры отыщет.

Над рокотом вселенских рек,  
Над исполненным косогором  
Опять привстанет человек  
И жизнь окинет вянутым взором.

И в старомодной тишине,  
В раскованном ее просторе  
Никто не вспомнит о войне,  
О грозном зле, о слезном горе.

Забытой быть какая благодать!  
Друзья забыли, милые забыли:  
При встрече не желают узнавать,  
Едва кивнут, а ведь недавно чтили!

И писем нет — ответа на привет,  
На мой смущенный зов — какое благо!

И гаснет чувств неугасимый свет,  
И мечется во тьме моя отвага!

Игра уже не стоит свеч,  
А потому тряхну можною,  
Избушку у реки построю  
И буду яблоньки стеречь.

Но за душой копейки нет.  
Тряхну веселой стариною,  
Вершину на земле открою  
И нагляжусь на белый свет!

Пойду себе, куда хочу,  
Миную молодые дали...  
На легком камешке печали  
Истрачу первую свечу.

\* \* \*

И мне пора в обратный путь!  
Но прыткий не спешит возница.

Пора и мне уgomониться,  
Уснуть.

Переиначатся миры,  
Свободные умы родятся!

В зеленом тереме земли  
Я буду жизни улыбаться...

Из Леона БРИЕДИСА

## НОЯБРЬ

Забот вседневных отошла пора,  
во вздохах наши души каменеют.  
Страда уже над нами не довлеет.  
Всех благ тебе, мой брат! Всех благ, сестра!

Покрыла раны изморозь с утра;  
и думы женщин над лесами реют,  
и замыслы мужчин в полях хладеют...  
Покой в хлевах, тишь в глубине двора.

Слова шершавы. Да и поздно мне  
искать речей восторженных, умелых  
и потакать себе в их новизне.

Тебя приемлю, снег, весенний недруг, —  
хоть сам я вновь плутаю по весне, —  
и обнимаю материнский берег...

## ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Птичьим крылом, кровью своей  
имя твое пишу и стираю.  
В мире, где я тебя обрел,  
в этом мире и потеряю.

В стане ветров, дождей, холодов,  
мама, тебе негде укрыться.  
Сквозь тень ивы, сквозь тень часов  
я пытаюсь к тебе пробиться.

Безмолвье каплет на губы мои,  
рот размыкая, криком исходит.  
На крыльях бессмертья в бессонном сне  
вера мира тебя успокоит.

Мама, бежим от судьбы своей  
(пусть нам простится вольность такая)!  
Стану кустом шиповника я,  
красный цветок — тебя — защищая...

## КРАСНАЯ ПТИЦА

Летела на берег другой,  
летела красная птица.  
Душа ее с давних пор  
в иве гнездится.

Пьет родники и тлен,  
вздымается и ветвится...  
Летела корнями вверх,  
летела красная птица.

## ТРАВА

Ты, мама, как трава... Когда коса  
тревог и горестей тебя скосила, —  
и все ж ты разрастаешься опять  
вольнее прежнего и с новой силой.

Ни жалоб, ни упреков никому...  
Лишь тихо зеленеешь в полдень мгlistый,  
и жаворонка поутру поишь  
своей слезой, доверчивой и чистой.

Идешь, идешь... И нет конца пути,  
нет мига дух перевести бессонный.  
За тридцать земель, за небосвод  
громадой моря катишь вал зеленый.

Свят твой покой, лелеющий звезду  
ежевечерне в сумеречном крае.  
... меня уже не будет, —  
будешь ты,  
ты будешь, мама, как трава  
живая.

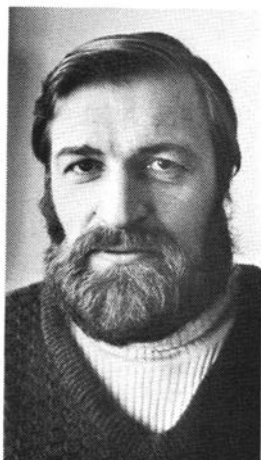
## ПАРЯЩЕЕ ОЗЕРО

Как озеро, парил я над землей,  
общаясь с птицами и облаками,  
я отдыхал на скалах среди морей,  
в горах на пиках елей спал ночами.

И по ночам стада большие звезд,  
гонимы жаждою, ко мне спускались;  
во мне будило солнце по утрам  
глазурь лучей, едва они рождались.

Лишь слово, словно рана, жгло меня  
в пучине вод моих, — ища спасенья  
от немоты, я над землей взлетел,  
чтобы найти себе обозначенье.

Летел я над пристанищем людей,  
над лежбищем зверей, — кружил над ними;  
в звенящей тишине я их просил,  
чтоб из меня они исторгли имя!



Артур СНИПС — латышский прозаик и публицист. Родился на Крайнем Севере в 1949 году. Окончил факультет автоматик и вычислительной техники РПИ. Автор сборников рассказов «Неисправная родня» (1979), «Маленькое село — из конца в конец» (1987). Произведения Сниспа переводились на русский, литовский и украинский языки. В нашем журнале публикуется впервые.

## ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЯ

Перевела Виолетта СЕМЕНОВА

Лион лежал в постели и перелистывал вечернюю газету. Зевнул, и показалось — отзвуки зевка вырвались в окно из хорошо обставленной комнаты и улетели за тридевять земель, за тридевять морей и остались там, не вернулись. Он зевнул и уже хотел выключить ночник и попробовать уснуть, но тут услышал, как хлопнула входная дверь и раздались шаги Теи. Ну, наконец-то жена дома! Она торопливо вошла в комнату, бросила сумочку на свою ночную тумбочку, улыбнулась.

И тут в душе Лиона словно что-то оборвалось.

Он сел в постели — резко, будто какая-то непонятная сила толкнула его.

Жена была в длинном вечернем платье, красиво причесанная, от нее исходил тонкий аромат яблок, и было в нем что-то колдовское, ведьминское: он приятно щекотал ноздри, вызывал улыбку, обвораживал; про себя Лион так и называл этот запах — запах ведьминских яблочек.

— В театр ходила. Ах, как давно я там не была! Представляешь, Лио, я даже забыла, что в театре можно взять напрокат бинокль!

Лион вскочил с постели. Вгляделся в лицо жены, и под его взглядом оно заметно изменилось: лоснящиеся и алые,

ДВА  
 РАССКАЗА

как цветок клевера, щеки запали, стали серыми; в глазах погасли искристые огоньки, и теперь они лишь тускло тлели; губы сморщились, словно сухие яблоневые листья, а нос заострился и стал похожим на игрушечную лопатку.

— Жаль, что тебя там не было, Лио!

— Ах, меня! — Лион засмеялся. — Меня там не хватало! И ты думаешь, я верю, что ты была в театре? Наивная потаскушка!

Женщина открыла рот, но не произнесла ни звука. Похоже, она хотела отвернуться. Ну, разве это не рассердило бы настоящего мужчину? Лион метнулся вперед, потом назад, лихорадочно размахнулся и, объятый отчаянием, влепил жене пощечину.

Вряд ли он сумел бы объяснить, что же произошло на самом деле: преобразилась ли его жена до пощечины или стала твердой и холодной, как камень, уже после нее. Сперва Лион ничего не заметил. В замешательстве он отошел от Теи, опустился на стул. Ладонь ныла, прямо огнем горела, стыд жег щеки, и Лион сокрушенно размышлял, что бить, конечно, не следовало. Но когда жена вошла, она была так красива! Принарядилась, прихорошилась, чтоб понравиться кому-то другому — не ему... Рассудив так, он поднял взгляд, чтобы сказать жене нечто поучительное, дать ей наставления, которые могли бы пригодиться в дальнейшей жизни, но не сразу нашел нужные слова. Тея стояла, как и прежде, посреди комнаты, и черты ее были какими-то странными, одеревенелыми. «Ну, сейчас в обморок хлопнется», — подумал Лион.

— Нет, ты признайся! Признавайся! — Он вскочил, как чудище, которое торопится раздуть огонь в горне. — А, ты молчишь! Думаешь, я ничего не знаю! Ты думаешь, я ничего не знаю! — Он чуть не вприпрыжку метался по комнате. — Но я хочу, чтобы ты сама призналась... Признавайся!

Жена молчала. Стояла словно высеченная из серого мрамора и молчала.

— Мы хорошо живем, все у нас есть! Конечно, теперь тебе нужен еще и любовник, я тебе уже надоел. Но тебе надоел и наш огородик, и наша квартира. Даже в лифте ты не едешь, пешком поднимаешься. Газет не читаешь, на политику и экономику тебе наплевать. Да, да, не ухмыляйся! Я тебя спрашиваю: уважаешь ли ты хоть меня? Только на работе меня уважают. Так что можешь не притворяться любящей да заботливой. Не верю я тебе!

Он бросился на постель, оскорбительно отвернулся к стене, но долго выдержать не смог.

— В театре была! Хоть бы врать научилась! Разве мы в свое время не ходили в театр? Что ж тебе сейчас бежать понадобилось? Ходили, часто ходили, даже слишком часто, и тебе нечего теперь туда таскаться. Эх, — он все не мог успокоиться, — ведь мы же в театре и познакомились! Да, да, и ты такая

улыбчивая была — о-хо-хо! И как быстро сдалась! Не слишком ли быстро? Ну да я тогда не в своем уме был, не заметил, что за всем этим кроется — ты ведь уже через месяц мне на шею бросилась. А осада-то была легкая! Эх ты, заколдованная принцесса! А я глупец! Дурак, дурак!.. Ну что ты молчишь? Чего стоишь столбом?

Молчание жены раздражало его все больше.

Вот до чего дошло, рассуждал он, ей уж и слова не скажи, и не упрекни ни в чем. Муж! Да что ей муж? Пустое место, тьфу — и все. Лион встал.

— У тебя что, язык отсох, милочка, или . . .

Тут он почувствовал, что его собственный язык коснеет, становится жестким, как дверной засов. Кровь ударила Лиону в голову, и он застыл: жена стояла точно так же, как четверть часа назад, и глядела так же — чуть-чуть удивленно. Она ни на малую малость не изменила положения.

Лион призвал на помощь все свое мужество, прикоснулся к руке жены и быстро отдернул пальцы. Глаза у него выпучились, полезли из орбит. Все еще не веря, Лион коснулся жениной щеки. Твердый, холодный камень! Все еще не веря, он ощущал ее плечи, талию, ноги. Все еще не веря, отступил и, недоверчиво качая головой, уселся на кровать. Засмеяться бы надо, что ли, подумал он.

— Ты у меня не вздумай прикидываться, Тея! — без всякого выражения сказал Лион. — Эти фокусы не пройдут!

Он все еще сомневался. Пугливо огляделся. Что за безумие! Мираж? Обман зрения, что ли? Лион осторожно открыл буфет, достал небольшую фарфоровую тарелочку, подошел к Тее. Собрался с духом и ударил тарелочкой по ее руке. Вы слышали, с каким звуком фарфор ударяется о камень!

Он ударил еще и еще раз — и вместе с ужасом входила в него вера в реальность происшедшего. Пугливо он отступил, глядя прямо в лицо жены, и вдруг сообразил — словно его кто палкой стукнул! — он же спит и видит сон! Лион подпрыгнул. Сон! Ну, такой, знаете ли, немножечко бредовый сон.

— Тея! Ведь это сон! — Он счастливо засмеялся. — Ах, какой я дурак! Завтра мы проснемся, и все будет в порядке. Вот сейчас, сейчас ты увидишь!

Лион распахнул окно.

— Сейчас я полечу! Недалеко, просто круг сделаю . . . Полечу!

Он перегнулся через подоконник, увидел пустоту в пять этажей глубиной, внизу — освещенную по-ночному аллею, и ему почему-то расхотелось убеждать в том, как невысказанно прекрасно он умеет летать во сне.

— М-да! — протянул Лион. Больше ему нечего было сказать.

Тусклые, безразличные смотрели на него глаза жены.



Первой хоть сколько-то здоровой мыслью было вызвать «скорую помощь». Так он и сказал:

— Тея! Ты смотри, вот я возьму и вызову «скорую»! — и после паузы, уже более уступчиво: — Тея, ты, наверно, плохо себя чувствуешь? Тебе больно? Я доктора позову. Подожди минуточку!

Но Лион недалеко ушел. К чему доктор? Что он станет делать с камнем? Лион представил, как приезжает «скорая помощь», как каменную статую, словно живого человека, выносят на носилках, и ему стало совсем неуютно. Ведь не поместят же камень в больницу! Может быть, поставят в морге, где-нибудь в углу... Но такой стала его жена, жена, которая совсем недавно, веселая, улыбающаяся, вернулась из театра. Театр...

О, теперь он понял, почему ему так не хотелось вызывать «скорую помощь»: тогда пришлось бы рассказать, что Тея одна была на спектакле, и любой понял бы, что кроется в действительности за таким посещением театра. Станет ясно также и то, как примитивно обдурили мужа.

Стараясь не глядеть на застывшую Тею, Лион проскользнул обратно в комнату. О господи, если об этом узнают на работе! Невероятный скандал разразится! И лютая злоба проснулась в Лионе, когда он представил, что совершенно неразумное поведение жены может испортить так хорошо налаженные отношения с коллегами. Неужто Тея не понимает, что самой же от этого хуже будет: если мужа понизят в должности, он начнет меньше зарабатывать — и придется поприжаться; муж будет притаскиваться с работы злой, неудовлетворенный — это неприятно; к тому же станешь казнить себя от сознания, что виновата в невзгодах семья. Нет, такого он бы и врагу не пожелал! Да, но что же все-таки делать? Что? Кто подкажет? А вы все отворачиваетесь! Вас это не касается... Ишь ты, святые какие, невинные!

Лион метался по комнате и в злости своей готов был разломать статую в порошок, превратить ее в прах, выкинуть вон, разбить, закопать — все равно что, только бы избавиться от этого каменного призрака. Однако он тут же представил, что об этом могут узнать люди, и по телу его пробежала ледяная дрожь. Она ведь его жена — милая, хорошая! Жену — выкинуть, разбить, закопать! Безумие, женушка дорогая, чистое безумие! Во власти своих жутких мыслей Лион бросился на колени. Молиться жене, что ли? Он и заплакать был готов, только бы здесь посреди комнаты не стояла жена, эта каменная статуя, и не смотрела на него хотя и неживыми, но будто бы смеющимися глазами.

— Ну чего ты хочешь от меня, женушка? Чего? Я все для тебя... Хочешь платице новое, туфельки... Только скажи! А может быть, нам выпить немножко? У меня коньячок есть — выпьем, и ты придешь ко мне... Мы с тобой так давно не ужинали вместе.

Вскочив на ноги, он достал из буфета початую бутылку коньяка.

— Только по одной! — поспешно добавил он и тут же понял, что все напрасно. И, наверно, даже обрадовался, что жена не пошевелилась, потому что только этого и не хватало, чтобы камни начали разгуливать. Но уже и теперь он испытывал страх перед неподвижным, холодным телом, стоявшим посреди комнаты.

Может, уложить ее в постель и укрыть? Может, просто прикрыть чем-нибудь?

Лион достал из шкафа совсем чистую, будто только что из прачечной, простыню и крадучись обошел комнату, стараясь незаметно приблизиться к застывшему телу. Его била дрожь. Жуткая мысль, что статуя вдруг обернется и глянет на него, заставила его замереть: наверное, впервые в жизни Лион почувствовал, как волосы у него на затылке встают дыбом. Тея должна быть жива! Невозможно, никак нельзя накрывать живого человека, словно покойника! Он ощутил во рту противную сухость, язык, как пластырь, прилип к небу, стало трудно дышать; простыня — белая, шуршащая — змеей обвивала руку.

Он пришел в себя на кухне. Вода из-под крана была холодной, освежающей. Он провел ладонью по лицу.

Ну, а если это всего лишь обман? Может, Тея уже в постели и спит, как обычно по вечерам, когда он приходит поздно? Это ведь так часто случалось... в течение многих лет. В конце концов, он не может позволить себе не спать всю ночь, а наутро отправиться на работу как с похмелья.

— Делай, что хочешь. Я пошел спать, — сказал Лион, вернувшись в комнату и делая вид, что не замечает стоящей посередине статуи. — Не собираешься же ты стоять так всю ночь? Не забудь, Тея, завтра тебе надо встать пораньше и сварить кофе. Спокойной ночи!

Должно быть, впервые с начала этой дурацкой кутерьмы Лион действительно успокоился. Наконец-то он понял, что жена больше не изменится, никогда не станет другой, что совсем ни к чему сердиться, ругаться, ни к чему бояться или питать надежду, что все вернется в прежнее русло. Просто получается только в кино да в сказках. Там колдуны заколдовывают принцесс, а принцы возвращают их к жизни. А в действительности иначе: если человека нет, так уж больше нет и ниоткуда он появиться не может. Лиону это казалось бессмысленным, и он угрюмо размышлял, что был бы вовсе не против самых различных превращений, если бы только не были они такими нелепыми и неприятными. Ведь Лион с женой никогда серьезно не ссорились. Ах! Лион вздохнул. Глубоко-глубоко вздохнул. Потом опять обернулся к статуе и почти с радостью отметил, что издали жена выглядит, как живая. Гм, может быть, никто и не заметит перемены, а он бы со временем привык. Носить белье в прачечную он смог бы, отпарить брюки тоже, сумел

бы и прибраться в комнате, а кофе пил бы в кафе. Только с приготовлением еды было бы труднее, но, наверно, и этому научился бы, повара ведь тоже люди. И новая жизнь показалась ему на миг вполне терпимой.

Жена как жена, рассуждал Лион, но вот зачем ей стоять посреди комнаты? Муж осторожно обнял каменную статую и взвалил ее на плечо. В углу надо поставить. Незачем ей торчать здесь у всех перед глазами!

Ноша оказалась тяжелой. Кряхтел от тяжести, проклинал немислимые капризы жены, но дотащил до угла комнаты. Опустил жену на пол, заботливо поправил на ней одежду.

— Все будет хорошо! — попытался он задобрить жену, а одновременно соображал, не стоит ли осторожности ради повязать ей передник или надеть что-нибудь попроще. Очень уж торжественно выглядела Тея! Не дай бог придет кто-нибудь и вздумает с ней заговорить! М-да, Лион еще раз оглядел жену с головы до ног. Может быть, надежнее поместить статую в шкаф, там бы она не мешала, да и в глаза не бросалась бы.

Как-то странно он себя чувствовал, казалось, статуя еще давит на плечо всей своей тяжестью, и дыхание все еще затрудненное, сиплое. И совершенно неожиданно пришли к нему воспоминания... Ах, да всякая чепуха! Лион рассердился и приказал себе ложиться спать, зевнул и опять... опять вдруг вспомнил что-то щемяще приятное и вроде бы давно уж позабытое. Ах, Тея, что ты наделала! Ну правда, кому все это было нужно? И Лион сообразил, что и завтра, и послезавтра придется по вечерам сидеть дома, придется готовить еду, хлопотать по хозяйству, потому что Тея теперь как малое дитя. Да-да, вспомнил Лион, жена ведь любит ватрушки. Когда они познакомились... О, несчастный муж! Он только сейчас заметил, что на жене то простое облегающее вечернее платье, которое было на ней, когда они встретились впервые. Пять лет назад. О, воспоминания, воспоминания, воспоминания... В замешательстве Лион сел, положил ноги на край кровати и, сидя так, думал, думал, думал. Пробило час, в открытое окно заползла прохлада, Лион зябко дрожал, а каменная фигура в углу комнаты казалась все более несчастной, все более одинокой.

— Ну, ложись в постель! — предложил муж. — Не то простудишься и придется потом не одну неделю проваляться.

Он торопливо достал из глубины шкафа верблюжье одеяло и накинул его на плечи статуи.

— Мы его вместе покупали. Помнишь? Почему ты никогда им не укрываешься? Я все удивляюсь да удивляюсь, чего это ты им не укрываешься. Бережешь, а? — Лион сухо засмеялся. Потом спросил: — Тепло?

Пригнулся, вопрошающе заглянул в лицо жены и смутился, потому что в действительности вовсе не ждал ответа. И вдруг — что было совершенно глупо и неприемлемо — Лион ощутил желание танцевать, танцевать что-нибудь простое, возможно

даже фривольное, что-нибудь этакое... Но он и сам не знал, как это делается.

— Может, хочешь прилечь? Я постелю...

Он обнял жену за талию и невольно скорчил гримасу — почувствовал тонкий улетучивающийся аромат яблок. Лион знал, что вся одежда Теи всегда пахла именно так, даже когда висела в шкафу рядом с его костюмами, но теперь знакомым запахом веяло от холодной каменной фигуры, и это смущало. Он прикоснулся к холодным плечам жены, прикоснулся к ее груди, погладил пепельные волосы. Потом посмотрел в тусклые, как у камен, глаза, вполне ясно сознавая, что Тея уж больше никогда не взглянет на него, и почувствовал себя таким одиноким, таким одиноким, каким никогда, никогда в жизни себя не ощущал. Неужели и правда — никогда, никогда больше?

Он даже не заметил, как повлажнели его глаза. Прозрачная капля сорвалась с ресниц, блеснула ярко, как осколок хрустала, и упала на каменное тело жены.

Где-то раздался сатанинский смех. Где-то далеко — за тридевять земель, за тридевять морей — прогремел гром и плодородный дождь пролился на иссохшую, долго терзавшуюся жаждой землю королевства, где в величественном дворце за высокими-высокими стенами жили-были король с королевой. Солнечной была та страна, и счастливые люди в ней обитали.

И камень ожил. Лион заметил, как он теплеет, приобретает присущую человеческому телу гибкость, увидел, как Тея вздохнула и как заблестели ее зрачки. Рука опустилась, женщина вздохнула.

Лион отстранился. Смущенный, взволнованный стоял он и улыбался по-детски наивно. Милая, хорошая! Не отрываясь смотрел муж, как ходит жена по комнате, открывает дверцы шкафа, выбрасывает оттуда платья, лифчики, чулки и складывает все это в один из больших чемоданов. Он улыбался. Странный спазм сжал его горло, лишив голоса, но и сказать-то было нечего — так он был рад. Когда Тея направилась к выходу, Лион невольно двинулся за ней.

— Не приближайся! — Тея подняла руку. — Не подходи! Слез я не ждала. Надеюсь, что будешь мужчиной.

Звучно хлопнула дверь, потом медленно приоткрылась до половины. Замерзший стоял он посреди комнаты и выглядел таким жалким в обвисших, на размер больше трусах и свободной спортивной рубашонке. Чтобы согреться, прижал руки к груди и потоптался на месте. То ли с упреком, то ли вопрошающе поглядел в угол, где еще недавно стояла застывшая каменная фигура жены.

Ах, если бы она навсегда осталась такой!

Сквозняк таскался по квартире.

Напряженный и пустой, Лион разглядывал комнату; взгляд его натолкнулся на выдвинутые ящики, на разбросанное

белье, — и тогда он почувствовал непонятную ноющую боль. Ну и пусть, успокаивал он себя, ну и пусть, зато завтра можно будет спокойно пойти на работу.

## ТЮТЯ КУПИТ КОРОВУ

Перевел Леон ГВИН

Когда-то, в былые времена, здесь стояли опасные для плотогонов Тягучие пороги. Течение Даугавы расшибалось на мелководье о донные камни, рябило в падении, вскипая пенистыми водопадами. Перед самой войной реку перекрыли плотиной и построили гидроэлектростанцию. Над плотиной, вибрируя, протянулся железный, с высокими арками мост, соединивший оживленную дорожную сеть на этом берегу с густыми борами за речья.

Весной, во время ледохода, поднимались и опускались могучие сорокаметровые затворы плотины. Разбрызгивая радужную пыль, устремлялись в них ледяные глыбы, шуга, речные наносы. Чего тут только не было — смытого водой и унесенного льдинами! Местные жители сказывали о сорванных с мостков и в щепу раздавленных лодках, плывущей копне сена, погибшем дровяном сарайчике, о зайцах и косулях, напрасно искавших спасения на льдине и втянутых в бурлящий водоворот. Кто мог здесь помочь! Круглые сутки гудели среди изобилия вод турбины силовой станции, раскачивался и гремел под тяжестью автотранспорта железный мост и от бездушно звенящих металлом электроустановок во все стороны тянулись тенета наэлектризованных проводов.

Мало что изменилось и с тех пор, как лет пять-шесть назад, расширяя старую ГЭС, на том берегу построили новый, современный гидроузел. Разве что поспокойнее стала полноводная река, и уже в пору цветения черемухи в весеннем беге воды чувствовалась какая-то усталость, преждевременная летняя истома.

Прохладным весенним утром, когда вращающиеся турбины расправлялись с остатками половодья и в голых пока нежно-зеленых березах, косясь на блестящий солнечный диск, легкомысленно посвистывали скворцы, какой-то весь из себя серый, малорослый мужичонка деятельно вышагивал по улице, направляясь в сторону моста. Была у него на голове обвислая ушанка и руками в рабочих рукавицах он размахивал широко и бодро, разгоняя и загребая под себя воздух. На ходу энергично сморкаясь, миновал он новые трехэтажные дома, построенные одновременно с пуском заречной станции, и очутился на дороге, по обочинам которой стояли довоенные, еще шведскими инженерами спроектированные желтые особнячки. Гундося, ускорил шаг, оставил за спиной здание общежития, тоже старое

и желтое, и по тропинке, мимо покосившейся водонапорной башни, подставляя лицо и грудь утреннему бризу, вышел на мост; держал он путь туда, где лопатил волну за волной новый, недостроенный гидроузел.

Солнце лениво взошло над лесами и взгорьями. И опаленное его щедротами, несчастное бетонно-кирпичное здание, в тесном переплетении железного каркаса и решеток арматуры, держалось из последних сил, отчаянно вцепившись в насыпанные на берегу песчаные холмы. Вся постройка ритмически гудела. Гадко, хотя и беззлобно, трясса и скрежетал бетон. Тряска не чувствовалась лишь в глубине плотины, на посту управления, где начальник электроцеха Далбинь озабоченно поглаживал лысину, а дежурный инженер, теребя бороду, варил кофе к завтраку. Здесь было намного тише и спокойнее. Тысячи импульсов незаметно бежали по жилам кабелей, световые и звуковые сигналы несли информацию о состоянии и режимах работы оборудования. В кабинете в противоположном углу здания за письменным столом, отяжелевший как гидротурбина, пыхтел над бумагами начальник электростанции Ияр по прозвищу Святоша. Он раздумывал о намеченном на сегодня заседании комиссии по благоустройству поселка, о трудовой дисциплине и технике безопасности, о полуразрушенной, отслужившей свой век водонапорной башне и прочих будничных делах.

Невзрачный мужичонка тем временем уже одолел мост, теперь высилась перед ним крупнейшая в его биографии стройка, и он был бодр, и его распирала гордость. Первые тридцать лет жизни провел он в приграничной деревушке, и вот, вопреки устрашающим предсказаниям земляков, суливших ему превращение в бродягу без роду и племени, притащился в это нескончаемое завтра. Всё здесь было по-другому. Ни спокойствия, ни настоящей ясности рассудка, но все же что-то необъяснимое, для здравого ума необъятное влекло и манило в этот мир. Над рекой с криком летали чайки, хватая оглушенную потоком рыбу, а над зданием ГЭС кружили вороны, собираясь позавтракать на ближних свалках. Мучимый насморком мужичонка то и дело утирался рукавом, но при этом степенности не терял.

Может, кто и помнил его настоящее имя, но для людей оно было утрачено навсегда: в поселке его звали не иначе как Тютей. У самой стройки Тютя перелез через ограду и пошел по кромке плотины. Дежурного инженера всякий раз штрафовали за эту дурацкую дорожку, где кто-нибудь когда-нибудь непременно возьмет да и сорвется вниз, но Тютя, конечно, не дурак, чтобы так собой распорядиться. Вообще он очень осмотрителен, особенно когда соберется. Хотя, по правде, случилось как-то ему, при всей осторожности, забрести в зарешеченную клетку из стальных прутьев толщиной в руку, большие были тогда неприятности. А что поделаешь? Сам в этот садок залез. Никто его туда не загонял, сомнений нет. И по привычке

своей никого в жизни не винить он и в тот раз другого не прекнул, а сам остался без премии.

Когда-то прилегающая к силовой станции невеликая застройка была по-крестьянски сонной. Люди жили одной семьей. Войну пережили и после войны сил не щадили, и работу свою делали с закрытыми глазами. При расширении ГЭС наняли новых рабочих. У них любовь к электричеству прежде всего увязывалась с квартирой в новом доме, и дела на станции пошли кое-как. Считали друг у друга отработанные часы, обсуждали оклады, без нужды не перетруждались. Тютя тоже был из новичков, но жизнь в новом доме его в восторг не приводила. Чувствовал он иногда смутное беспокойство и в мыслях невольно уносился к родным местам, где люди все знакомые и всё знакомо. Однажды по заведенному на деревне обычаю поставил у нового дома скамеечку. В другой раз приобрел гусей, которых наловчился держать в подвале. Но вышло решение, и скамейку выбросили, а за покушение на удобства жильцов, выразившееся в содержании гусей, получил он нагоняй и свернул своим любимцам шею, только и удовольствия, что соседней жарким угостил. Разумеется, и Тютя понемногу нашел в поселковой жизни свои радости, хотя они и не имели отношения к смыслу бытия, а являлись к нему приправой. Каждое утро приходил он на работу почти на полчаса раньше положенного, чтобы пощелкать в домино и прокричать срывающимся на сип голосом: «рыба!», «козел!» Выигрывая — радовался, проигрывая — переживал; перемешивал черные с белыми точками костяшки и покусывал в волнении обветренные суховеем азарта губы; в самом деле, какое-то время казалось ему, что все житье-бытье роковым образом сошло в одной-единственной белой точке.

По штатным и платажным ведомостям Тютя числился гидромехаником. Ни бельмеса не смысла в турбинах и речных водах, он расторопно подтягивал болты и уплотнял прокладки, чинил вентили и мастерил деревянные затычки. В нем уже не было патриархальной скрупулезности старых рабочих, но и характерного для новоприбывших желанья побыстрее наложить заплату или поставить костыль — тоже; не было в нем ни того, ни другого. И — мечтал о корове. Не мог надивиться, как это новенькие, любившие порассуждать о том, сколько потов сходило с них в прежней, сельской жизни, теперь вечерами только и делали, что слонялись по квартире или дремали у телевизора. И никто ни за что особенное не брался и о корове тоже не вспоминал.

В этот приятный весенний день на галерее второго этажа, по соседству с огромными, покрытыми ржавчиной трубами, мастерил Тютя ограду строящейся лифтовой шахты. Уж в плотницком деле хватка у него была, и казалось, озабочен он был донельзя тем, чтобы люди, чьи головы набиты электрическими премудростями, по рассеянности не свалились в семиэтажную пропасть плотины. Работа Тютю была по душе. Мимо натужно

гудящих турбин, лавируя между железками, кабелями, пластинами, стараясь не застрять ногой в щелях кое-как пригнанных бетонных блоков, носил он стройматериалы. Принесет, закурит, подумает, засучит рукава. Дежурный инженер задержался возле Тютя, посмотрел, оглаживая бороду, как ладно трудится человек, одобрительно покивал и ушел.

У дежурного свои заботы, не до весенних красот ему и не до радостей жизни. Бригады электриков уже который день ремонтировали проложенные строителями кабели. И он частенько наведывался к ним — проследить за тем, чтобы работающие рядом строители просто так, по одним им ведомым соображениям не утащили какую-нибудь предохранительную загородку. К тому же в половодье наносами забило фильтры, машины перегревались, а диспетчеры энергосистемы там, в Риге, перегруженные электроникой и недогруженные знаниями, пока и слышать не хотели об остановке турбин. Дежурный инженер мрачно поглядывал на термодатчики и крутился возле перегревающих агрегатов, будто своим присутствием мог принести пользу. И начальнику станции Ияру-Святоше эти терморезимы причиняли немало хлопот. Плавнo покачиваясь на носках, пыхтя как паровоз, он распространялся о недостатках проекта и, чтобы чем-то себя занять, разыскивал по телефону то одного, то другого или третьего руководителя, но все они как в воду канули. Неясно как, но соединили его с поселковыми банщиками, и те, будто радуясь чужой беде, потребовали от него внести ясность в вопрос о кривизне водонапорной башни, изложить перспективы водоснабжения, а также ответить, топить им баню вдругорядь или нет. Однако начальник станции так и не пожелал просветить их на этот счет.

Лишь к полудню, когда уменьшилось энергопотребление, отключили одну машину. Навоюстрил Тютя уши, различив перемену в однообразном гуле силовых установок. Почесал за ухом и подался к нижнему бьефу — глянуть, что да как. Ничего особенного не высмотрел, зато чистый воздух пробудил в нем смутные ощущения. Вдали чернели просыпающиеся леса. По глубокому небосводу бродили белые кучевые облака, и свежий, шальной и пахучий ветерок щекотал ноздри. Весь белый свет, речной простор и небосвод, заречные холмы — все это казалось только что нарисованным еще теплой и влажной кистью, прибранным и расцвеченным к какому-то большому празднику. И раздираемый внезапной неутолимой тоской, недовольный жизнью, вернулся Тютя на рабочее место и, понурившись, принялся мерить, пилить, тесать, сколачивать, так сказать, не разгибая спины.

По захламленному коридору, слабо освещенному моргающими лампочками на гибких проводах, промчался на пульт управления мимо одиноко курившего Тютя дежурный инженер. Спустя какое-то время, когда он уже изрядно намаялся, попытаться освободить заклинивший клапан, в ушанке набекрень подошел



к нему Тютя. Понаблюдал с опаской, как хрипит и чертыхается инженер. И спокойно, философски находчиво заметил, что без ломика тут не обойтись. Отмахнувшись, инженер процедил сквозь зубы, что сам знает, кого стукнуть ломиком и по какому месту. Лягнул в отчаянии клапан и, тряся бородой, яростно зашагал к щитам по бугристому бетонному полу, усеянному искорененной арматурой.

На Тютю снизошло озарение.

Раздобыв в механических мастерских лом, он вернулся назад и разве что по ошибке подошел не к той машине. Возбужденный, предприимчивый, он приладил тяжеленный лом и, упершись ногами в стену, крутанул что было сил. Непослушный вентиль скрипнул, дернулся и подался. Тютя, премного довольный, услышал, как зашумела вода. Струйки побежали и откуда-то сверху, где-то всюю пошло сипеть и шипеть, но Тютя, на добавочные эти трудности не реагируя, добросовестно отвернул вентиль до упора. На всех этажах силовой станции пронзительно выли аварийные сирены, вокруг стоял адский свист и грохот, когда, мокрый с головы до ног, выбрался он наружу и отер рукавом пот и капли воды с усталого лица. Еще нимало не тревожась, дождался электриков, в чреде которых первым, тряся козлиной бородой, неся дежурный инженер. И только тут Тютя почувал неладное. Прихлынула тоска, сдавило в груди, и вспомнилась ему деревня, весенний ветер, сиделки на солнышке возле дома, неторопливо льющийся тихий говор и такое же размеренное течение жизни. С миной славно потрудившегося человека он подвинулся, пропуская бегущих, сплонул им вслед и побрел доканчивать эту паршивую ограду лифтовой шахты. Владело им железное ощущение собственной правоты.

Что было после? Начальник станции барахтался, как утопающий. Дежурный инженер всё крутил бородой, словно это был жезл регулировщика уличного движения. Диспетчер энергосистемы поминутно куда-то звонил и выдвигал неосуществимые предложения — где-то в полусотне километров отсюда службист в неведении портил себе нервы. Лишь начальник электроцеха Далбинь был спокоен, по-своему даже потешался, потирая лысину, — авария есть авария, рассуждал он житейски, что в лоб что по лбу, как назад не втолкнуть младенца, так не повернуть вспять случившееся. Да и двухдневный ремонт причислят к объективным причинам. К тому же появится возможность внедрить блок точной синхронизации агрегата, нет худа без добра. Ияр-Святоша машинально перелистывал записную книжку и казался убитым горем. Начальника трудно было сдвинуть с места, в решительные моменты он, как всегда, колебался. Очнувшись от важных мыслей по части благоустройства, веско и наставительно произнес, что на будущее следует разработать дополнительные инструкции, чтобы избежать подобных неприятностей, исключить повторение, вот и всё. И в

очередной раз за пять лет, с тех пор как перевели его сюда с партийной работы, Ияр-Святоша утешился мыслью, что между включением лампочки и делами на электростанции существует различие, вечное и для него непостижимое.

Тем временем компьютеры уже пересчитывали режимы, прогнозируя распределение энергии, теплостанции запросили добавочный мазут, и были определены более низкие режимы потребления, о чем поставили в известность дежурную с радиослужбы. Далбинь еще успел перепланировать работы. Электрики привели в порядок схему просушки агрегата. И только через добрых полчаса все чуть ли не одновременно вспомнили про Тютю.

Потом Тютя, жестикулируя, топтался в большом кабинете, будто и сам до смерти удивленный, что же подвигло его броситься на помощь. Начальник станции несколько раз проверял по бумагам, не было ли дано бедняге соответствующее распоряжение. Дежурный инженер сверлил взглядом стенку и, едва в поле его зрения оказывался низенький мужичонка, пальцы непроизвольно сжимались в кулак. Тютя недовольно что-то бубнил, возражал, и Далбинь, потеряв лысину и тяжело вздохнув, ласково посоветовал ему пойти пообедать и вернуться в ясном уме.

Слышать такое было Тютю не впервой. Понимал он, конечно, что к умным людям надо прислушиваться, не лезть куда не просят, но в крестьянской душе жило нечто более возвышенное и вечное, чем эти благоразумные рассуждения. И он сказал, что ничего дурного не хотел, вот ведь вымок до нитки и умучился, а те, кому надо бы за всё это машинное хозяйство отвечать, теперь на него небось держат зло, одно плохое о нем думают и лишь бранятся...

Мужичонка, недовольно утираясь рукавом, держал путь к мосту, концы нахлобученной по самую переносицу ушанки отчаянно трепыхались. Горечь подавила обычный в нем страх упасть вниз и расшибиться насмерть. А солнце по-прежнему сверкало жизнерадостно и лучисто, набегающий от горизонта ветерок обвевал щеки, вокруг всё таяло, лопалось и духмяный разливался аромат, воздух полнился пронзительными звуками и шелестением, и мало-помалу пешеход отошел, отмяк — бормоча себе под нос, сладко жмурился и охотно подставлялся солнцу, которое грело беззаботно и безбедно. За лентою шоссе затих, приглушенный рядами лип, колесный перестук — остановилась электричка. Высыпавший народ усеял крапинками полосатую ткань ландшафта. Где-то вдали гудел трактор, сочились теплом крыши, а мужичонка знай себе шагал по ветром продутому, вознесенному над потоками вод и шлюзовыми затворами пространству и в такт шагам энергично и бодро размахивал руками, думая при этом о чем-то своем, расчудесном и прекрасном.

Миновав дом культуры, из приоткрытых окон которого до-

носились треньканье рояля, Тютя по сухой асфальтовой полоске вышел вскоре к новостройкам. Взломав дорожное покрытие, возились в глубооченной яме водопроводчики — ставили на трубу хомут.

Тютя, вдруг позабыв про обед и недавние огорчения, принялся ходить вокруг ямы, внимательно приглядываясь к ремонту и давая советы. Притулился на самом краю и долго сидел, тыча куда-то и о чем-то раздраженно толкуя. Наконец, снедаемый желанием пособить службе, по лесенке, прислоненной к стене ямы, спустился в сырую глубину. Работяги, с головы до ног перепачканные глинистой жижей, отстраненно и с холодком взирали на суетливого Тютю, который шустрил, сновал взад-вперед, догадливо ухватил молоток и принялся простукивать трубы. — Э-гей! — восклицал он всякий раз, когда на округлости проступала трещинка. Сплеывая в сердцах, выбрались мужики на свет и, недоумевая, пошли искать начальство, но известно было, что начальство их стоит в очереди за детским питанием, доставленным в сельмаг сине-зеленым фургоном. — Ишь ты, ишь! — доносилось из ямы. — Долго ли умеючи! — Увлечшись и о последствиях не подумав, выступал Тютя водопроводную пробку. И там тоже поползла паутинка — и бурля хлынула вода. Вмиг утихомирившись, Тютя надвинул поглубже ушанку и отшвырнул молоток. Мокрый по самые ляжки, честя растяп из коммунхоза, вылез он наружу. Не дыша, с глубокомысленной натугой глядели работяги, как взбирается на асфальт и перелезается, словно из чана, бурая жидкость. Удостоив Тютю многоэтажной награды, потянулись они гуськом в котельную перекрывать воду. Тютя остался один. Всё топтался в хлюпающих ботинках, шмыгал носом, руки чесались сделать полезное, доброе, пока не почувствовал озноб в лытках. И сразу припомнились неприятности на электростанции, засосало под ложечкой, он повернулся и побрел к дому. Правда, еще шебуршился чем-то тяжело обеспокоенный мозг, но это были уже убакканные, зыбкие, мимолетные мысли, а в узких глазках курился светлый дымный огонек.

Тютя понимал пронизательно: человек — это тварь такая, что и без нужды безо всякой свою вину, ничтожнейшую даже, охотно переложит на чужие плечи. Но и ему надо бы понять хозяина коммунальной службы, который, отстояв очередь, разбомбил телефон гэсовского начальства — хотел узнать, кто дал Тютю такое право всюду шастать и затапливать улицу. В конторе дежурный инженер снимал стружку с Ияра-Святоши за то, что освободили гидротехников от ночных работ и послали устранять строительный брак. На это Святоша отговаривался трудовым законодательством, выделенными квартирами, незаполненным штатным расписанием и гуманизмом. Дежурный потребовал, чтобы и к нему проявили чуточку того хваленного гуманизма, и, кажется, Далбинь, копавшийся в измерительной аппаратуре, усмехнувшись, заметил язвительно, что ток имеет

обыкновение течь по пути наименьшего сопротивления, вот оно ведь как.

На подстанциях тысячи киловатт повисли на алюминиевых проводах между оттаявшей под солнцем землею и голубым небом. Хрустя, потрескивали утекающие из сети токи. Оставшиеся в строю турбины вспенивали буроватую реку, гудели трансформаторы, палило солнце, а в это время Тютя в своей новой квартире принимал душ. Вода ласково струилась по спине и груди, шумела в ушах, Тютя, стоя в белой ванне, переминался с ноги на ногу и отряхивался. И конечно же думал. Когда не везло, он всегда и, может, слишком настырно думал о корове. Такой это был человек. И хотя понимал, что размышлением делу не поможешь, от мыслей своих не отступал и про себя очень удивлялся, отчего новенькие, которые уж во всем, кажется, разбираются, приобретение коровы ни во что не ставят. И вообще про корову — молчок. Да, чужая душа потемки! Нешто Тютя считал себя тем, кто проникнет в чужую душу и постигнет вершины премудрости.

Работа в тот день не клеилась. Два долгих часа Тютя прилежно писал объяснительную про то, как догадался отвернуть пожарный вентиль работающей машины. Далбинь, сочувствуя, особенно расписывать происшествие не советовал, что было то было, сделанного не вернешь, но Тютя начал издалека: весеннее утро, отличное настроение, никаких дурных предчувствий, а перед глазами, собой заслоняя белый свет, она — корова, волоокая, гордая, стройная и не уходит. Нестерпимо хочется подоить ее, приласкать. Далбинь терпеливо разобрал каракули. — А это что за крендель? — в сильном недоумении спросил он, ткнув пальцем в бумагу. — Корова, — искоса глянув, отрубил Тютя. — Корову покупать буду. — Ага, — понял Далбинь. — Кто ж запрещает, покупай на здоровье! — тяжело качнул головой Ияр-Святоша, но Тютя сказал так, чтобы поняли все: — От коровы молоко лучшэй, чем из магазина. Увидите! Как пить дать! — Уже увидели! — отворачиваясь, проговорил дежурный инженер, весь усталый и желчный. Потом Тютю пришлось излагать письменно про неурядицы коммунхоза, растяп ремонтников и состояние водопровода. Тут и рабочий день подошел к концу. Солнце, описав дугу по небосводу, клонилось к закату, на Тютю никто больше внимания не обращал, он покрутился возле лифтовой шахты и засобирался домой. Чувствовалось, иссяк. И только мечта о корове взбадривала.

В толпе возвращающихся с работы Тютя шлепал мимо общаг, покосившейся водонапорной башни, мимо котельной и аптеки. Песчаные пригорки электростанции, беспорядочные нагромождения арматуры, проволоки, нахалстроая печально тянулись следом, как шлейф отгоревшего дня. Над мостом — по вечерней привычке — каркали вороны. Мужики толковали о нересте и весне и еще о многом другом, таком же бескрайнем и важном. Воздух звенел. Все еще громыхали по гэсовскому мосту

машины. И по-прежнему сидело на всхолмье теплое, по-весеннему прекрасное солнце, и густой, волглый, дурмящий запах источала земля. За шоссе, за рядками лип, скользнул, притормаживая, электропоезд, и пассажиры, как муравьи, рассеялись в подступавших сумерках. На берегу Даугавы сторож спасательной станции красил в ярко-желтый цвет будки поселковой купальни, и серым, умиротворенным глазам людей на мосту желтизна эта казалась неестественно-слепящей и непрстойкой.

Не поужинав, Тютя вывел во двор свой чиненый-перечиненый велосипед и лихо уселся верхом. Теплый ветерок посвистывал в ушах, лохматый мопс долго бежал за ним взлаивая, а Тютя, окрыленный, статный, рвущийся вперед, мчался мимо поселковых достопримечательностей, пока не свернул к реке, миновав ядовитые будки купальни и здание исполкома, где светились окна и Ияр-Святоша рассудительно высказывал неисчерпаемые свои тревоги по части благоустройства.

Тютя решил сговориться насчет коровничка. Любезный хозяин, жилистый как моток проволоки, указал, где в хлеву надлежит храниться муке и куда ставить молочные бидоны. Не торгуясь, они сошлись в цене и распили магарыч, каждый спел свое, потом Тютя плел о коровьих причудах и устройстве организма, о том, с какой стороны задавать корм и с какой брать молоко и как много завидного рогатого скота на свете. Но не на том, где под наблюдением дежурного инженера, с головой уйдя в работу, гнули спину над поврежденным оборудованием люди Далбиня, и уж конечно не в том раю небесном, который рисовался воображению Ияра-Святоши, державшего речь на исполкоме: вокруг благоухают цветы, и разбиты сады чудесные, газоны вечнозеленые, чудо несказанное, всем и каждому в радость, на века и годы. Но это, разумеется, в данный момент никак не касалось Тютя.

Он отправился в обратный путь. Синеватые сумерки опускались над Даугавой, тонуло в синеве здание ГЭС. В аллеях между влажными по-весеннему ветвями застряли горящие фонари. На горизонте окруженное сиянием зеленовато-золотистой вечерней зари, подрагивало в дымке закатное светило, и скрадом подбирался ночной морозец, затягивая лужи едва заметной пленкой. Блаженствующий, исполненный надежды велосипедист катил мимо особнячков, примечая в синеющих окнах теплиц склоненных над цветочными грядками людей, верно собравшихся поутру на какой-нибудь из рижских рынков, а даст бог сил, и на дальнее торжище, благо мир велик. Прошуршал он мимо подстанции, где раскинулась над головой серебристая паутина проводов и мерно гудели трансформаторы. Вот он уже катит по асфальту в районе новой застройки, и нежные речные запахи сменяются шибяющей в нос вонью взрыхленной глины, потом мимо старого дома культуры, цвиркая и шурша по лужам, крутя педалями без усталости, — бог знает, о чем он думал

в дороге, только светился весь и в приподнятом настроении радостно и светло выкатился на широкую ленту шоссе.

Навстречу судьбе своей ехал Тютя.

Не узри он в сумерках нечто беспомощно ползущее на карачках посреди шоссе и приближающиеся волчи фары рычащего автомобиля, разве вострепнулся бы, охваченный желанием спасти человека, разве отшвырнул бы куда попало велосипед! Не успел Тютя, махая руками, допрыгать до скрюченной фигуры, как взвыли тормоза и молнией брызнули фары, и кубарем полетел он, касаясь крыла наехавшей на него машины, на лету отчаянно пытаюсь ухватить шапку, и хотя не дотянулся и шапки не удержал, но на самом деле не эта потеря была ему страшна и огорчительна, а досада, что снова, себе и другим на беду, попал он в чудовищный, совершенно непредвиденный переплет.

В то время как шофер, от волнения дрожавший студнем, сгреб с асфальта обмякшее тело Тютя и, затолкав его в кабину, помчался в районную больницу, а мотор ревел и переднее колесо точилось о погнутое крыло, в это время человек, еще минуту назад писавший вензеля на дороге и замеченный Тютей именно за этим занятием, выкарабкался из придорожной канавы. Слово контуженный, что-то разумея, а чего-то совсем во хмелю не понимая, тупо вертелся он на месте, не зная, в какую податься сторону. Пошел, наткнулся на телеграфный столб и, сообразив с трудом, куда идти, напоролся во тьме на Тютин велосипед. С проклятьями поднял его, оседлал и, спрессовав пьяное свое сознание, поехал — сначала ни шатко ни валко, а потом уже как по ниточке. Свесив подбородок на грудь, что-то горячо про себя бубня, не разбирая дороги, он бессмысленно крутил педали и в целом довольно резво поспевал через лужи и беспутьицу, пока возле новостроек не влетел с разбегу в яму, отрытую водопроводчиками и тютиними усилиями до краев наполненную водой.

Вострепенувшись, затормозил, но передок уже понесло куда-то вниз, и тут тело ездока шлепнулось в воду. Хорошо хоть поплыл саженьками — и на асфальт. Хмель вышел мигом вон, и, трезвея, икающий, заковылял человек домой; Тютин же велосипед наводил на совсем уж грешные мысли о местонахождении его хозяина.

Не потому ли бежит через весь поселок кучка взволнованных граждан, и среди них начальник электростанции с портфелем под мышкой? Хрустит под ногами ледок, плавно покачиваются стволы деревьев и колышутся фонари. Бегущая строчка, извиваясь, ползет вдоль покосившейся водонапорной башни, и возле аптеки в нее вписывается настроившийся на ежевечерний оздоровительный бег пенсионер.

Нехорошо, жутко зияла яма. Женщина в цветастом халате о чем-то допытывалась у девочки, а девочка, подпрыгивая на одной ножке, щебетала про то, как летел дядя и как она зажму-

рилась, когда он упал. Кто-то сообразил помчаться за «скорой», кто-то побежал за пожарными. А Ияр-Святоша маялся на краю ямы и, страдальчески морщась, пытался разглядеть что-то в черном зеве. Всё не решаясь, но действуя как всегда разумно, он отдал предисполкома свой портфель, не торопясь скинул плащ, пиджак и развязал галстук. Невольная гримаса исказила его лицо, он долго озирался, стоя в перекрестье полных ужаса и изумления взглядов, наконец отошел в сторонку, отвернулся от женщин и спустил брюки, оставшись в белом помятом нижнем белье. Заведующий коммунхозом, неизвестно откуда раздобывший молоток, гвозди и доски, между тем сколачивал ограждение. Старался он в поте лица, и Ияру пришлось, стыдливо поддергивая кальсоны, подлезать под готовый почти что барьер. На краю пропасти Ияр потерянно оглянулся и обвел собравшихся текучим и горьким взглядом недоуменно-печальных глаз. Наконец нехотя соскользнул в воду по пояс и ощупью, по ступенькам лестницы, оставленной в яме, стал в нее погружаться. Бултыхался в грязной мути, кривился и, замерзая, словно бы сипел даже — нежно, радиофонически, — как вдруг сквозь женский шепот донеслось до него глухое покашливание и полная ласкового сочувствия весточка, принесенная одним из подчиненных, — насчет дорожного происшествия и Тюти, который, оказывается, давно уже там, где ему надлежит быть, — в больнице, и велосипед тут ни при чем. Какой-то безумец заикнулся было, что неплохо натереться гусиным жиром, но Ияр даже глаз не поднял на непрошеного советчика, — привлеченная суетой мероприятия толпа стояла стеной по периметру и жадно ловила каждый жест.

Долго еще торчал Ияр-Святоша по пояс в холодной воде. Грустно, с затаенною болью смотрел на черную жижу. Примчалась пожарная команда с насосом. По случаю возобновили сбор подписей под петицией о недостатках поселкового водоснабжения. Пенсионер в спортивном костюме жаловался на новые инструкции по части выделения семейных огороδικов. Обносили горячим кофе из термоса, пошли балакать и смеяться, а Ияр всё стоял в яме. Как будто о чем-то важном размышлял под торопливый стук молотка в руках заведующего коммунхозом, но почудилось внезапно — наперекор всему высовывается из темного зазеркалья призрачная рука и кажет фигу.

Глянцевая весенняя ночь укрыла звездным пологом застекленные теплицы, строения ГЭС и напряженно застывший железный мост, и поселковую аптеку, и дом культуры, и школу, тьма объяла землю, и на людей снизошел покой. Таинственнее и удивительнее всего эта ночь над странной, чудом держащейся водонапорной башней, свежескрашенными будками купальни, железнодорожным полотном с последней электричкой и над зданием исполкома с забытым в окне светом. Люди остывая отходят от дневных забот, и головы их медленно наполняются

россыпью иных дум и звуков. Обожав округу, притомилась весть о беде, случившейся с Тютей. Кое-кто еще судачит, правда, о его поразительной способности долго-долго оставаться под водой, о каком-то трупе, найденном в котловане, но утихают и эти пересуды. Тяпнув водочки, храпит заведующий коммунхозом. Начальник электроцеха Далбинь, воротясь с работы, принимается изучать осциллограммы аварии и так, позевывая, завершает свой, в общем-то привычный, шестнадцатичасовой рабочий день. Дежурный инженер, выпив очередную чашку кофе, скрупулезно проверяет режим гидротурбины. А в одной из палат пятиэтажного здания районной больницы забинтованный с головы до ног, посапывает невзрачный мужичонка, и видится ему корова, несбывшаяся его мечта, большущая как дом и красоты неопишуемой. И спящий задабривает красавицу, норовит пощупать, а она не дается — в том живоительно прекрасном, зеленом мире снов.

Только Ияру-Святоше сон нейдет. Работает на благоустройство поселка его воображение — стройные ряды деревьев видит он, странно нереальные громоздкие монументы, а между ними — похожий на футбольное поле ровный газон, на котором пасутся кони. Умом он понимает, что коней за здорово живешь не купишь, и ухода они требуют, и размещения, да поди ж ты, прикипел душой к этой сказочной позолоченной картинке. Потом уж, разомлев, услышит он сквозь дрему звенящую над поселком сигнализацию ГЭС, и металлический этот звук напечалит его совсем о другом — о глубинном, непостижимом порядке, но, пожалуй, больше всего о бесконечной ответственности и тех обязанностях, которые человек не возлагает на себя, зная всё наперед, а проносит по жизни, как громадный, трепыхающийся на ветру плакат.



Григорий НИКИФОРОВИЧ,  
доктор биологических наук

## В ДОЛЖНОСТИ ВОЛЬТЕРА

Поистине фантастическое происшествие случилось с майором Ковалевым марта 25 числа в Петербурге: нос его, покинув своего обладателя, оказался в тот же день в шляпе с плюмажем и в шитом золотом мундире статского советника, каковой чин по табели о рангах приравнен к бригадиру, первому генеральскому званию. Судите сами, как затруднительно майору предъявлять претензии к генералу, даже если генерал доподлинно известен ему как его собственный нос. Ведь в такой ситуации самое главное — золотое шитье, а вовсе не то, кто облечен в него.

Здесь надо заметить, что в Российской империи почтение ко всем без различия носителям золотого шитья было обусловлено не только страхом или зависимостью от власти имущих, но и обязательным автоматическим признанием их высоких человеческих качеств. Казнокрадство, административная бездарность, нескончаемая череда императорских фаворитов — ничто не могло поколебать святую уверенность верноподданных граждан в исключительных заслугах обладателей высших чинов. Всеобщее убеждение разделяли и гоголевские персонажи, что лишь усиливало их безоговорочный пиетет перед вышестоящими. Впрочем, современный читатель вряд ли нуждается в столь подробном разъяснении: не так уж далеко мы ушли от мысли о весьма благотворном влиянии табели о рангах на общественную и частную мораль.

Дело в том, что произошедшие за последние полтора века социальные потрясения изменили очень многое, но только чуть-чуть затронули общественные отношения «по вертикали». Правда, наименования чинов и должностей стали другими; но еще в 1929 году фельетонист архангель-

ской газеты «Волна» А. Гайдар начал приводить табель о рангах в соответствие с духом времени: «.. Скажем, председатель губисполкома — это вроде губернатора. Военный комиссар — воинский начальник. Председатель горсовета — глава городской управы. Завгубсоцстрahом — попечитель богоугодных заведений. Завженотделом... гм... это, конечно, труднее. Ну, скажем, дама-патронесса — председательница общества призрения одиноких женщин, и т. д. И, руководствуясь указанной классификацией, советские чиновники свято блюдут иерархические обычаи»

Как ни прискорбно, приходится признать, что сегодня, через шестьдесят лет, перо фельетониста имело бы полное право быть еще более желчным: иерархические обычаи за это время только приумножились. В результате разрыв между теми, кто приобрел почет и привилегии, связанные с должностью или званием, и всеми остальными только увеличился. Нынешние привилегии, правда, относятся почти исключительно к материальной сфере: мечта Городничего о «кавалерии через плечо» практически позабыта, ибо в наши дни возможность приобрести кусок колбасы повкуснее, да еще без очереди, куда больше выделяет заслужившего эту почесть из серой массы. Причем во мнении окружающих такое выделение хоть и вызывает раздражение, но по-прежнему представляется чем-то естественным. Както раз автору этих строк довелось жить в известной московской гостинице «Россия» (разумеется, по знакомству) в преддверии большого государственного праздника. Гостиницу лихорадило от необычного наплыва высокопоставленных гостей и, жалуюсь подруге на действия бюро по

размещению, дежурная по этажу в сердцах сказала: «Что же они селят депутатов прямо на людей!», ни на секунду не сомневаясь в справедливости разделения всех человеческих существ на эти две категории. Несмотря на очевидный комический эффект, доля правды, и немалая, в такой реплике есть: наша общественная мораль свыкла с существованием некой привилегированной прослойки и даже с превращением ее со временем в особое сословие, именуемое в просторечии Начальством.

Странно, конечно, что, говоря о наиболее прогрессивной общественной формации, не удастся обойтись без термина «сословие», характерного даже не для капитализма, а для феодализма. Но необходимость в особой группировке, основное занятие которой — распределять произведенное другими, никак нельзя объяснить ни экономическими законами, излагаемыми в стандартном курсе политэкономии, ни стремлением к светлым идеалам равенства и братства, провозглашаемым в курсе научного коммунизма. А между тем в нашем сознании такая необходимость прочно укоренилась: недаром почти все проекты преодоления недостатков нашего общества пока сводятся к одному и тому же рецепту — пускай новое Начальство исправит то, что развалило старое.

И в этом — один из реальных парадоксов переживаемого нами момента. С одной стороны, мы всегда готовы решительно осудить безответственных и беззащитных чиновников-исполнителей, или даже иного Начальника, нарушающего им самим установленные границы приличия. Но, с другой стороны, мы отнюдь не собираемся отказываться от Начальства как сословия. И дело не только в исторически усвоенной системе вассального мышления, но и в чисто психологических мотивах.

Прежде всего, чрезвычайно неприятно признаваться себе в том, что той плохо управляют: ведь каждый, как известно, имеет того начальника, которого он заслуживает. В этом отношении, кстати, постоянные жалобы на бездарность непосредственного руководителя еще ни о чем не свидетельствуют: на его фоне Начальник, стоящий на верхних ступеньках,

тем более кажется почти совершенством (а если было бы не так, кому бы мы смогли жаловаться?). Кроме того, идеологическое обоснование существования Начальства стало со временем гораздо более совершенным. Если раньше, на протяжении почти двух тысяч лет, библейской сентенции «нет власти еще от Бога» оказывалось достаточно, то теперь тот же результат достигается логическими выкладками посложнее. Скажем так: мы убеждены, что наше отечественное Начальство всецело контролируется государством и представляет его. Но, с другой стороны, каждый из нас, подобно Людовика XIV, имеет полное право заявить: «Государство — это я», поскольку каждый с детства усвоил слова лучшего, талантливейшего поэта эпохи: «... в моем автомобиле мои депутаты». Получается поэтому, что Начальство представляет нас и нами же контролируется; немногочисленные скептики, которых такой вывод все еще не убеждает, могут рассеять свои сомнения, приняв участие в выборах директора. Таким образом, в создавшихся условиях всякие покушения на необходимость Начальства как сословия теряют смысл, поскольку выходит, что придется предъявлять претензии к самому себе, что человеку как-то не свойственно. Стало быть, остается лишь повторять на разные лады слово «ура» — единственное, которое было разрешено дисциплинированным гражданам из пьесы Е. Шварца «Голый король» для выражения каких бы то ни было эмоций на территории королевского дворца.

Притом, что важнее всего, это заветное слово обычно произносится вполне искренне, без всякого принуждения: мы верим, что даже неизвестный нам, но назначенный нами (или от нашего имени) Начальник заслужил свое высокое назначение во всех отношениях. Ведь если он согласился взвалить на себя ответственность и неблагодарный труд по управлению нами, он, наверное, весьма компетентный специалист в своей области и, вне всякого сомнения, человек безупречной морали и нравственности. Во всяком случае, мы хотим видеть его таким, и не столько ради него, сколько ради нас самих. Ибо разочарование в очередном

конкретном Начальнике можно еще смягчить, пробормотав магические слова «человеческий фактор» и назначив нового, а сомнение в доселе непререкаемом авторитете высокого кресла вообще означало бы чересчур сильное потрясение основ.

Иными словами, мы считаем, что место красит человека, а не наоборот: человек — место. Существенно не то, чье изображение обрамлено золотым багетом на стенах официальных кабинетов — главное, чтобы рама портрета не оставалась пустой. Что же касается достоинств личности, то при такой системе мышления они целиком зависят от уровня занимаемой должности: это значительно облегчает задачу создателям среднестатистических современных романов и спектаклей. Героями таких произведений иногда бывают и люди; но в основном в них участвуют обобщенные должности — рабочие, инженеры, студенты, милиционеры, директора, секретари, председатели, даже министры. И, что характерно, наиболее мудрым, честным и уважаемым неизменно оказывается самый главный Начальник, хоть порой это только эпизодический персонаж (зато на его фоне Начальникам поменьше разрешается все же отклониться от идеала). Разумеется, жизнь — не театр, но и здесь, как на сцене, свита старательно «играет короля», так что лишь действительно крупная личность способна выдержать искреннее почтение окружающих и не прогнуться в титаническом самоуважении к собственной личности.

Магия должности стала настолько привычной, что многие мелкие несообразности мы давно уже перестали замечать. Как-то на телевизионной встрече команд КВН состав жюри был объявлен следующий: Юрий Саульский, Георгий Данелия, заведующий отделом культуры ЦК ВЛКСМ, Владислав Третьяк, Георгий Бурков... Конечно, имя и фамилия комсомольского руководителя были также названы, но должность понадобилось указать только для него, поскольку лично он вряд ли был известен многим из собравшихся в зале. В жюри конкурса веселых и находчивых этот человек оказался лишь потому, что именно он находился в данный момент на данном посту. И миллионы телезрителей со-

вершенно не почувствовали, что им еще раз, хоть и неумышленно, но напомнили: даже такое редкое и незаурядное качество, как чувство юмора, может быть гарантировано назначением на соответствующую должность. Как говорил Козьма Прутков: если хочешь быть красивым — поступай в гусары.

(Трагикомизм этой истории заключается еще и в том, что заведующий отделом культуры ЦК ВЛКСМ, быть может, и вправду человек весьма остроумный, веселый и находчивый. К сожалению, однако, в изложенном эпизоде должность не оставила личности никаких шансов.)

Итак, в результате психологической основой общества, в котором мы живем, оказывается святое убеждение, что все без исключения генералы — стратеги, члены Союза писателей — знатоки человеческих душ, а руководители вышестоящих инстанций — самые лучшие из руководителей, возможных вообще. Это та самая логика, согласно которой дети обязаны слушаться всех взрослых, а военнослужащие — исполнять распоряжения всех начальников и старших. В этом-то все и дело: достаточно прочно утвердить в общественном сознании принцип «должность, а не личность», и даже в балетной труппе можно пользоваться непосредственно Уставом внутренней службы, из которого заимствовано предыдущее утверждение. А при неуклонном следовании уставам управления обществом станвится весьма удобным и эффективностью в наведении желаемого порядка резко возрастает, что и требуется с точки зрения управляющих. Управляемые, с другой стороны, также не особенно ропщут, поскольку устав гуманно освобождаст их от обременительной самостоятельности и, главное, ответственности за свои действия («... А если что не так — не наше дело!..»), перелагая ее опять-таки на плечи безымянных должностных лиц.

Таким образом, сохраняется не только равновесие отношений, но даже, пожалуй, и гармония. И лишь одно обстоятельство несколько омрачает картину: в изображенном обществе нет места ни Сократу, ни Вольтеру, ни Пушкину. В самом деле, хорошо известно, что неуправляемая болтовня Сократа, человека не

то что без должности, но даже и без профессии (попытка стать скульптором не в счет), породила ничем не оправданный хаос и замешательство в мыслях сограждан. Поступки же Пушкина да, правду сказать, и его сочинения также никак не сочетались с ответственным постом придворного историографа и званием камер-юнкера. Поэтому хоть и с сожалением, но от этих двоих приходится решительно отказаться. Что же касается Вольтера, то совсем без идеолога обходиться все-таки затруднительно; впрочем, наилучший выход из возникающей сложной ситуации был предложен еще полковником Скалозубом. Помнится, полковник в простоте своей посоветовал назначить на вакантную должность вольтера обыкновенного фельдфебеля: именно это решение, как мы знаем, и восторжествовало в конце концов.

Вот и выходит, что процветание Административной Системы — главного тормоза нашего развития — объясняется не столько условиями, созданными культом личности, как полагают наиболее отважные из современных историков, сколько достигшим зенита культом должности. Смешно думать, что нынешние сторонники сталинизма всерьез скорбят о незабвенной личности И. В. Джугашвили: больше всего их беспокоит отсутствие должности Вождя и Отца народов в нашей теperешней общественной структуре. И действительно, за последние тридцать пять лет признаки культа личности в той или иной форме проявлялись неоднократно, с регулярностью, наводящей на мысль о закономерности; однако поскольку любой такой культ конкретного человека уже не мог превратиться в культ Вождя и Отца, последствия всякий раз оказывались несопоставимыми с тем, что бывало раньше.

И в этом смысле подлинным началом революционных преобразований следует, может быть, считать тот исторический период в середине пятидесятых годов, когда в сознании общества рассеялся ореол должности Великого Вождя и самая большая золотая рама, требующая высшей степени обожания, навсегда осталась опустевшей и была разрушена. Зато рамы поменьше и по сей день пребывают в полной сохранно-

сти, не позволяя слишком пристально вглядываться в портреты. Впрочем, есть надежда, что и эти малые ореолы начинают блекнуть: с каким бы священным трепетом мы ни произносили слова «первый секретарь обкома», «министр», «заместитель Председателя Совета Министров», уже не забудутся ни первый секретарь Бухарского обкома, ни министр внутренних дел СССР, ни зампредсовмина Молдавии.

Само собой понятно что отказ от культа должности, замена сословия безымянных Начальников подлинными лидерами требуют не просто решимости, но и создания специальных общественных механизмов. Предстоит научиться не только избирать, но и, что гораздо важнее, переизбирать своих лидеров снизу доверху, попытавшись вернуть реальное содержание скомпрометированному ныне выражению «слуги народа». Предстоит превратить чиновников из проклинаемых козлов отпущения в квалифицированных помощников самоорганизации общества. Предстоит... Однако вряд ли можно перечислить все, что предстоит движению, объявившему себя революционным. Но необходимым условием любого первого шага всегда будет освобождение общественного сознания от очередного слоя должностного раболепия. Двадцать лет назад забудыга-шофер, герой песни А. Галича, говорил о своем Начальнике: «.. Не то он зав, не то он зам, не то он — печки-лавочки! А что мне зам — я сам с усам, и мне чины — до лампочки...» В те времена такое отношение выглядело откровенным полу-блатным хулиганством; но сегодня начинаешь понимать, что это было сказано трезвым человеком, здравый смысл которого устоял в эпоху массового опьянения культом должности.

Стоит, однако, поэкономнее расходовать пафос: ведь большинство глаголов предыдущего абзаца все еще относятся к будущему времени. А пока как бы не забыть на всякий случай снабдить имя автора этой статьи его ученой степенью: не имея отношения к делу, она все же поможет смягчить возможную критику. Ибо даже потертое золотое шитье продолжает действовать на воображение.

Ингрида СОКОЛОВА

## «ДЕРЗАТЬ — ПРЕКРАСНО!» —

так она назвала одну из своих 69 книг, из которых 48 написаны на латышском, а 21 — на немецком языках. Вся ее жизнь действительно была Великим Дерзанием, борьбой за торжество духа над плотью. Ей довелось познать свет и тьму, большую любовь, признание — и тяжелые испытания, вражду. И все же накануне своего 80-летия она могла сказать: «Моя жизнь была богатой».

На девяностый юбилей, 15 декабря 1987 г., Зента Мауриня вернулась на родину: в Риге, в Доме работников искусств, состоялся памятный вечер, который так и назывался — «Возвращение». Она смотрела с портрета своими грустными добрыми глазами на переполненный зал. И как бы повторяла уже многократно сказанное: «От чужбины можно умереть так же, как от рака и лейкемии. От тоски по родине лекарств нет».

Зента Мауриня родилась в Леясциемсе в семье врача. Вскоре ее отца Роберта Мауриня переводят в Гробиню, близ Лиепая, и там, в их гостеприимном доме, часто звучат музыка и стихи. Во многих книгах она посвятит отцу добрые слова о его бескорыстии, тихом героизме труда, сердечной чистоте и интеллигентности. Мать же была одаренной пианисткой и... матерью пятерых детей. Дом — как теплое гнездо, в которое всегда хотелось возвращаться: пахнет пирогами, свеженачищенными полами, белыми

гиацинтами, рождественской елкой...

В пятилетнем возрасте девочка заболевает полиомиелитом и «всю жизнь ходит уже только в мечтах». Близкой становится притча о крыльях Икара. Примечательно, что позднее, описывая свои зарубежные путешествия, Мауриня никогда не скажет «меня везли» или «меня несли», но всегда — «я шла», «поднималась», «бродила», словно по свету путешествовал здоровый человек. Дважды маленькую Зенту взят в Берлин: операции не удаются. В своей очень интимной книге «Мозаика сердца» Мауриня писала: «Самое трудное — это не физическая боль, а невозможность по своей воле передвигаться, поступать, сознание того, что наибольшее количество энергии расходуется не на созидательный труд, а на сопротивление болезни». Однако придет и такое время, когда она скажет: «И сидя в коляске, можно кое-чего достичь».

В 1913 году Мауриня поступает в Лиепайскую женскую гимназию. Это трудно завоеванный шаг — первая полная самостоятельность, ведь в городе она совсем одна. Как обслуживать себя? Как добираться до школы? Здесь и начинается дерзание, непокорность судьбе, упорное доказательство — я могу, я в состоянии, начинается, чтобы продолжаться всю жизнь, каждый день, любое мгновение.

У нее богатое воображение, и именно русская литература рождает полет фантазии. Как хочется стать похожей на героиню Тургенева, на Лизу например! Еще лучше — на толстовскую Наташу. А идеалом мужчины становится... Андрей Болконский. В эту «счастливую пору»

СОКОЛОВА Ингрида Николаевна — участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей, доктор филологических наук, автор 29 книг (проза, киносценарии, путевые очерки, публицистика, критика, литературоведение). Исследованием творчества З. Маурини занялась семь лет назад.

рождается особая привязанность, нет, скорее всего вечная любовь: Достоевский. Путеводитель! Сама она назвала русского классика своим «вечным спутником», о котором она «может говорить в любое время дня и ночи». На выпускных экзаменах Зента выбирает тему «Дети в романах Достоевского» и пишет настолько блестяще, что получает приглашение в Петербург. Она бы поехала: ведь «ни на одном языке невозможно так полно выразить свои чувства, как на русском». Но — начинается первая мировая война.

Окончив гимназию, Зента хочет основать школу, чтобы учить детей «душевной щедрости», и получает разрешение на частную прогимназию в Гробине, которой и руководит до 1920 года.

Вспоминая эту пору, она признается, что «от церкви отвернулась — пугала застывшая догма», однако «в отчаянии и поисках продолжила путь к Всевышнему». Но это совсем не объект религиозного поклонения: у нее уже появился свой бог — идеал гуманизма, духовного держания.

24 лет, с золотой медалью в кармане, Мауриня решает отправиться в Ригу, в университет. «Твоя учеба — безумие», — ужасается мать. «Воля способна поднять до самого неба», — успокаивает отец. «Университетские испытания — пустяк по сравнению с испытанием жизнью», — утешает их Зента.

В 1921 г. она поступает на философский факультет Латвийского университета; спустя два года переходит на отделение балтийской филологии.

Война отняла у врача Мауриня все сбережения. И за коляску Зенты увязалась нужда. Студенты, которым она дает частные уроки, платят мало или не платят вовсе. А ей надо платить за все — и больше всего за то, чтобы докатили коляску до университета и обратно, за то, чтобы подняли ее в аудитории и снесли вниз. Однажды какой-то жадный помощник «забывает» ее, и всю ночь она вынуждена сидеть и плакать, как в тюремном заключении. Живет в убогой комнатухе, на обеда и то не всегда хватает, хорошо, если есть чай и черствый ржаной хлеб. Только поездки домой — всег-

да радость и отдохновение. Даются они нелегко: в 3-м классе от Риги до Лиепая, целых пять часов в неподвижности.

В 1922 году Зента Мауриня произносит свой первый доклад — «„Преступление и наказание“ Достоевского и философия Ницше», да, именно свободно говорит, и все ее последующие выступления (а всего их наберется около тысячи) будут примером блестящей импровизации, устными эссе на разные темы, с богатством фактов и образностью, которые буквально зачаровывают слушателей.

К особо ярким мгновениям жизни Маурини относятся встречи с известной латышской писательницей Анной Бригадере, и не случайно, что появится исследование «Белый путь» и статья о Бригадере, и дружба их будет продолжаться вплоть до кончины автора «Спридитиса».

Но главное — Райнис!

Они познакомились осенью 1925 года в день его 60-летия, когда Мауриня наскребла денег на дорожное такси и поехала в Задвинье его поздравить. Райнис приглашает ее на ужин. Они сидят рядом, беседуют. Когда в 1928 году Мауриня прочтет ему свой очерк «Некоторые основные мотивы в творчестве Райниса», поэт, прослушав со слезами на глазах, скажет: «Так глубоко меня еще никто не понял...» Он будет катать ее коляску и беседовать о Гете, и эти беседы Зента сравнит с «музыкой Баха», она неоднократно посетит его, и она признается, что он внес в ее будни «великий свет» и только ради него она перестала сотрудничать в газетах, где молодые авторы вынуждены писать по диктату хозяев.

9 сентября 1927 года сдан последний государственный экзамен, Зента Мауриня блестяще заканчивает университет, надеется получить работу, но «все двери оставались закрытыми. В течение нескольких месяцев я претендовала на 6 разных мест, и везде — отказ». Она понимала, почему — достаточно было увидеть эту проклятую инвалидную коляску, чтобы лица исказились жалостью. В минуту отчаяния остается единственный путь — к министру просвещения Райнису. Временно вакантно место в Рижском учительском

институте, и Мауриня в 1927/28 учебном году преподает здесь... латышский язык.

В конце 1928 года Райнис сам относит исследование Маурини издателю, и книжечка выходит немедленно, а в руках — гонорар, который и позволяет отправиться в один из старейших университетов Европы — Гейдельбергский. Она едет на летний семестр в сопровождении близких друзей. Слушает лекции, знакомится со всемирно известными философами Ф. Гундольфом, К. Ясперсом, М. Хайдеггером, Г. Риккертом, Э. Курциусом. Сюда она придет еще раз в 1929 году. А перед поездкой отец ей напомнит о пушкинской Золотой рыбке. Зента ответила: «Эта притча, быть может, пригодна для рыбачки, но не для меня... Что мне может подарить судьба? И поэтому я не хочу примириться с достигнутым!»

Из Гейдельберга она возвращается больной. Операция. Всего в ее жизни их было восемь.

Но работа не прекращалась. Первое эхо Гейдельберга — исследование «самой яркой его звезды», лауреата Нобелевской премии 1929 года — профессора А. Курциуса. Для этого ей потребовалось большое количество книг на разных языках, в том числе изданная в Москве в 1927 году книга «самого способного критика новой России — Л. Гроссмана». Свою статью она и заканчивает его цитатой на русском языке. Отлично знала В. Белинского. Вообще Мауриня следила за русским и советским литературоведением, пользовалась трудами, например, В. Шкловского, принимая или отвергая отдельные положения. Работая над Достоевским, в частности, отвергла тезис Н. Михайловского о «жестокоем таланте».

В 1929 году выходит первая большая книга З. Маурини — «Янис Порукс и романтизм», которая вызывает резко противоположные оценки, и так это оставалось навсегда, поскольку буржуазные националисты приписывали ей то германфильство, то славянофильство.

В этом же году реализуется давно лелеемый замысел — открывается ее первая литературная студия, а их будет несколько. В 1929/30 учебном году начинается ее про-



*Zentellaurina*

Зента Мауриня

светительская деятельность в отделе Латвийского народного университета в Мурмуйже, неподалеку от Валмнеры. Осенью, зимой, весной ночным поездом, который на маленькой станции стоял всего одну минуту, Зента Мауриня в течение десяти лет ездила сюда 65 (!) раз и без какого-либо гонорара прочла 130 лекций по литературе, этике, эстетике. «Не чувствовала ни холода, ни боли. Знала, что надо». В этом благородном начинании ее поддерживали такие известные латышские писатели, как А. Бригадере, Е. Яншевский, Я. Яунсудрабиньш, К. Скалбе, Э. Стерсте, К. Штралс, Э. Трейманис-Зваргулис, Тирзмалиете, Р. Рудзитис, К. Краулиньш, композиторы А. Жилинскис, Л. Гарута, мать композитора Э. Дарзиньша и многие другие.

В своих лекциях она высоко оценивает революционного поэта Э. Вейденбаума, рассказывает о Данте, Дж. Бруно, Шекспире, Роллане, Ибсене, об индийской, финской, американской и китайской литературах и, конечно же, о Достоевском,

Чехове, разбирает классиков латышской литературы Аусеклиса, Лумпура, Кр. Барона и других. Особенно близки ей были Рабиндранат Тагор и Николай Рерих. З. Мауриня дружила с видными деятелями латышской культуры — переводчиком Тагора К. Эгле и поэтом Р. Рудзитисом — председателем Латвийского общества Рериха. Ее наградили «Золотой книгой», в которой были собраны материалы конгресса Балтийского рериховского общества 1937 года и которая высылалась только выдающимся деятелям мировой культуры. И она пишет по-русски благодарственное письмо Рериху, в котором выражает удовлетворение тем, что на свете еще есть люди, для которых любовь важнее ненависти, поддерживает его тезисы о радости и этике.

С грустной иронией она напишет позже: «Году в 1929-м я стала знаменитой, это значит, что у меня было чуть больше денег, и я получила большое количество писем, но увеличилось также число моих противников и завистников. А когда вышел «Достоевский», со мной все произошло так, как написано в биографии Байрона: «Однажды утром я проснулась знаменитой».

В своей работе «Достоевский. Его личность, жизнь и мировоззрение» (1931) З. Мауриня использует около ста исследований, воспоминаний о великом писателе и в значительной степени — капитальный труд советского ученого Л. Гроссмана «Путь Достоевского». Над «Достоевским» она продолжала работать всю свою жизнь. Каждое новое издание — переработка отдельных глав от 3 до 7 раз, дополнения. «В одной книге Достоевского не исчерпать, слишком велик. Буду писать еще», — так она призналась, уже живя в Швеции. И писала о гении — очень светлом и человечном, и каждое новое издание раскупалось, умножало ее славу. И в журнале «Вопросы литературы» (1965, 3) при обзоре достоевсковедения отмечалось, что работа Маурини — одно из самых точных и глубоких исследований творчества Достоевского.

Примечательно, что в конце 20-х годов, размышляя над Достоевским, она пишет и обширную статью о футуризме и Маяковском, которого

называет «самым ярким представителем урбанистики».

1934 год. Выходит первый сборник ее эссе «Размышления и замыслы». И вот уже в начале лета она через Варшаву отправляется в Вену. Отголоски этого путешествия — «Книга о людях и вещах», где встречаем и резкие социальные контрасты, и гневное осуждение расизма.

В 1936 году — поездка во Флоренцию. Что из того, что денег опять мало и ехать приходится в 3-м классе?! Она едет к... Любви и к Данте. Флоренция — город влюбленных, и здесь она сходит с писателем Константином Раудиве. Мать приказывает — откажись, вернись, ты больна, а у него — семья. И на этот раз Зента не слушается, он же оставляет жену и детей. Раудиве слыл чудаком, мистиком. Он долго жил в Испании, много писал о дон Кихоте, но широкою известность в Европе приобрел как парапсихолог, даже был избран действительным членом Римской «Academia Tiberina» (основанной в 1813 году), выступал с докладами на многих конгрессах о так называемых «космических голосах». Зента слушала его записи и... не верила им. Она была реалистом — когда надо было, спасала мужа от гестапо в 1941 году, переводила на немецкий его книги. Без его помощи она бы с очень многим не справилась: он чемоданами таскал ей книги, носил и ее вверх-вниз по лестницам, возил на машине по Европе в ее лекционные турне и даже каши варил. Но... изменял тоже. Раудиве скончался на четыре года раньше нее, и тогда Мауриня впервые в жизни пошла в церковь. Однако призналась: «Того, кто любил по-настоящему, не способны утешить ни религия, ни философия».

Но в 1936 году они еще вместе и едут к Ромену Роллану, книги которого Мауриня переводила на латышский язык. Мауриня и Роллан долго беседуют о судьбах малых народов, о проявлении прекрасных народных качеств в гениальных людях. Они понимают друг друга с полуслова. Один несущественный Ролланом замысел — написать о Чюрлёнисе — художнике и музыканте — приводит Мауриню прямо из Парижа в Каунас. По картинной галерее ее коляску катят чудесные та-



лантливые люди — цвет литовской национальной культуры. И рождается эссе о Чюрленисе «Поклонник Космоса!» И выходит книга о Данте.

4 февраля 1938 года Зента Мауриня защищает докторскую диссертацию «Мировоззрение Фрициса Барды» и становится первой латышской женщиной — доктором филологических наук. Друзья предупреждали ее об ожидаемом сопротивлении со стороны университетского руководства. Так и случилось. Вплоть до того, что ей предъявлен ультиматум: докторант должен быть во фраке и в аудиторию нельзя въезжать в инвалидной коляске.

Диспут занимает около пяти часов. Происходит острая схватка мнений, так как все ее противники объединились. А возле университета — толпа людей, ожидающих нового доктора с охапками цветов. Газеты сообщают — степень получена заслуженно, ибо ее статьи «побуждают людей стремиться к образованию, к знаниям и к лучшей, прекрасной жизни». Тем не менее — работу в университете ей не предоставили.

В 1938 году выходит сборник «Искатели солнца», посвященный латышской литературе. А ведь еще до этого народный поэт Ян Судрабкалн очень метко определил, что Зента Мауриня превратилась в жрицу или королеву и число верующих или подданных ее все растет. Всюду, где появляется эта физически слабая, но необычайно одаренная женщина — толпа ее поклонников.

В сентябре она отправляется на машине в Финляндию, где становится гостем известных финских литераторов. В 1939 году — новый сборник эссе «Северные темы и вариации», в котором открывается много общего между латышской и финской этнической символикой.

В письме к ее биографу П. Эрманису находим слова: «Сколько бы хорошо мне ни было за границей, постоянно там жить я бы никогда не смогла. Я поражаюсь тем писателям, которые в вечном изгнании создали свои лучшие произведения. Я бы не смогла. Я бы умерла от тоски».

Судьба как бы посмеялась над этими словами: 33 года ей пришлось прожить на чужбине — в Западной Германии, Швеции и снова в ФРГ.

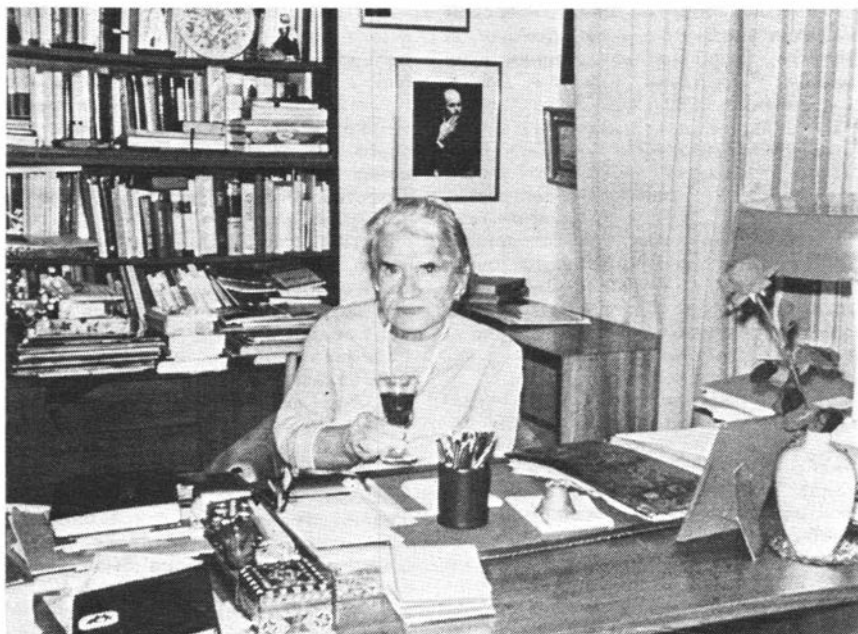
В 1940 году ее друзья, собрав много подписей, обратились к Центральному Комитету Компартии Латвии с просьбой помочь Маурине. Решено было поручить ей перевод «Жана Кристофа» Р. Роллана. До этого она уже перевела его «Бетховена» и «Микеланджело», «Идиот» Достоевского, романы С. Ундсет и Т. Харди.

В 1941 году З. Мауриня снова тяжело заболевает и, лежа в клинике своего друга профессора П. Страдыня, заканчивает свой первый роман «В поезде жизни», который писала без малого 10 лет, и повесть «Неотправленные письма».

В годы войны, как и раньше, у нее собирались художники, музыканты, писатели, актеры: читали новые стихи, слушали музыку. Крупнейший латышский филолог профессор Я. Эндзелин говорил о сохранении латышского языка в условиях оккупации. Вскоре эти вечера были запрещены, ибо, как вспоминает Мауриня в автобиографической тетралогии, немецкой тайной полиции сообщили, что в ее квартире происходит «анти-немецкая пропаганда». Была арестована и казнена ее воспитанница Вильма Крутайне. Много резких слов сказала Мауриня о постыдных делах «гомункулуса-гестапо», уже в Германии на расстоянии объезжала логово Гитлера, чтобы «не чувствовать ядовитое дыхание убийцы». В статье «О народах и национальностях» заявила: «Для меня неприемлемо воззрение, что есть избранные народы, состоящие из сверхчеловеков, имеющих право топтать другие народы».

Скитания по Германии — цепь невзгод. Их у Зенты Маурини могло не быть, как и у многих других латышских интеллигентов. Сейчас мы знаем, какие долгие и злые последствия имела высылка латышей из республики 14 июня 1941 года. А ведь среди многих невинных людей в списках депортации числилась и Мауриня. Тогда, накануне войны, они с мужем прятались в Юрмале. Летом же 1944 года мимо их дачи тянулся поток беженцев, охваченных паникой. Исчезли все соседи. Тогда и она с Радиве сели в свою старенькую машину и без багажа и денег отправились в неведомое...

Всю свою послевоенную жизнь



Зента Мауриня в своем рабочем кабинете

Мауриня назвала «трагедией изгнания». В 1951 году отметила в своем дневнике: «Мы страшно, фантастично бедны». Когда ее коляску катили вдоль витрин магазинов, она только смотрела и спрашивала: «Когда у меня будут деньги?..» Живя по чужим углам, вставала в шесть утра и, опираясь на локти, чтобы разгрузить больную спину, работала по 14 часов. Лейтмотивом стало: «Работаю, значит существую!»

Начиная с 1951 года З. Мауриня из Упсалы совершает 8 путешествий по Европе, по 3—5 тысяч километров, и прочитывает 135 лекций в 26 городах. В своих выступлениях в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии она восхваляет борцов-антифашистов, говорит о предпосылках «мирового единства», выступает против агрессивного национализма, анализирует явления литературы. Она осуждает поджигателей войны во Вьетнаме, террористические акты сионистов против арабов, атомную бомбу и вооружение.

Залы переполнены, а она в минуту отчаяния признается: «Иногда чувствую себя как сеятель на ветру

без своего народа, без своей земли». Она могла бы быть обетованной, эта земля. Мауриня хотела вернуться, даже библиотеку свою подарить Латвийскому университету. Была у нее лишь одна просьба — чтобы мужа похоронили на кладбище Райниса. В этом ей отказали. Более того — долгие годы ее имя поносили, оно было под запретом. Эмигрантка! Да еще называет режим Сталина кровавым, да осуждает Вышинского, говорит о лагерях. А ведь четверо видных, близких ей работников культуры в этих самых лагерях и находились...

Среди книг, вышедших в послевоенные годы, — «Корни культуры», «Мозаика сердца», «Города и люди», «Трагическая красота», «Стражи человечества», «О любви и смерти», «В поисках смысла жизни» и другие. Последняя ее книга «Мои корни на небесах» выходит в Бруклине спустя два года после кончины автора. Название примечательное и... трагичное. Во всех этих книгах женщина и ее миссия, раздумья о духовности, об источниках радости, о преодолении невзгод и болезней, о де-

фиците милосердия, душевности, распада семьи, об эмиграции — жизни в развалинах, о бессмертных ценностях культуры и торжестве духа, острая критика западной действительности и модернизма — «бесчеловечного искусства». С большим уважением писала о тех, кто «стоит на страже, чтобы зверь не поглотил человека», кто «поднялся над буднями», — Достоевском, Райнисе, Мунте, Руставели, Фейхтвангере, Гоголе, Чехове, Ломоносове, Бунине, Цветаевой, Швейцере, Вольтере, дю Гаре, Перле Бак и других. К концу жизни — снова особенный интерес ко всему, что шло из России: с восхищением читает О. Берггольц, Б. Пастернака, Б. Окуджаву, «Станцию «Зима» Е. Евтушенко, «гениального лирика» А. Ахматову, и, конечно, дорогих ей С. Есенина и А. Чехова. Просит прислать любимую оперу «Евгений Онегин».

В литературном наследии Зенты Маурини — четыре романа, повести, мемуары, стихи, афоризмы, монографии, путевые очерки, однако главное — эссе — «духовный деликатес». О ее творчестве можно сказать словами ее учителя Монтеня: «В моей книге каждый может меня узнать и во мне — мою книгу».

Идя по ее следу в Швеции и ФРГ, я долго стояла возле ее могилы в

курортном городке Бад-Кроцингене. Серый, скромный камень, словно привезенный с далекой родины. И вспоминались ее слова: «Ни в немецкой, ни шведской земле мы не пустили корни...»

Умирает З. Мауриня в 1978 году, 25 апреля в Базеле, в Швейцарии. Общий паралич, но рассудок — ясен. Разговаривает до последнего мгновения. И до последнего вздоха — железная воля к жизни. А жизнь продолжает радовать «лучами света» — работы ее переводятся на восемь языков, ей посвящаются речь на ассамблее ООН, статьи в энциклопедиях, например в «*Lexikon der Frau*», где только две латышские женщины — она и поэтесса Аспазия. Она получает сотни писем благодарности, цветы, всевозможные награды. Ее избирают в академию, а к 80-летию присваивают звание профессора. Всего за полгода до смерти — награда Швейцарского общества «За права человека и свободу». Ее вручает в Берне президент общества. Но радость Маурини омрачена: отклонена ее тщательно продуманная речь: она, оказывается, «не рассматривает тему о свободе», а «пишет о мире». Мауриня отвечает: «Ах, разница между ними невелика. Свобода без мира немислима».

Артур ПРИЕДИТИС

## НА ВЫСОТАХ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Истина — это то, во что  
верят от всего сердца  
и от всей души.

*Мигель де Унамуно*

Долгие годы Зенту Маурини — почетного доктора нескольких университетов и лауреата международных премий — за границей знали лучше, чем на родине.

В действительности же в Латвии ее никогда не забывали. Неизвестными оставались только последние работы Маурини, так как читали здесь ее довоенные книги, а также..

публикации в прессе, осуждающие ее антисоветские взгляды.

Теперь мы начинаем узнавать не только довоенную Зенту Мауриню. Нам открывается характерный для эмигрантов ностальгический скептицизм, который не смогли преодолеть и другие так называемые «великие эмигранты» — Джойс, Набоков, Ибсен, Райнис. Все они тосковали по родине. Но в то же время к их тоске примешивалось чувство досады на то, что они не могли вернуться на родину таким образом, как им этого хотелось бы.

Конечно, не одна только Зента Мауриня сформировала свою судьбу. Существенную роль сыграли те заблуждения против эмигрантского искусства и литературы, от которых мы теперь только начинаем постепенно освобождаться. Из-за такого несвоевременного возвращения много потеряла Зента Мауриня, ибо ей, как и любой творческой личности, необходима была органическая связь со своим народом. Много потеряли и мы.

Зента Мауриня является одним из самых значительных латышских критиков современной культуры и одним из самых глубоких и беспощадных интерпретаторов современного искусства и литературы, а также всего образа жизни. Она, так же как и другие выдающиеся мыслители нашего столетия — Ортега-и-Гассет, М. де Унамуно, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, удивительно дальновидно уловила и сформировала наиболее типичные тенденции духовной жизни буржуазного общества. В ее работах мы встречаем интеллектуально и художественно яркие наблюдения о поэзии, прозе, музыке, живописи, киноискусстве, науке нашего века.

Не всегда книгу надо обязательно читать с начала. Библию, «Фауста», «Евгения Онегина» можно читать с любой свободно выбранной страницы, получая духовное удовлетворение от каждого эпизода.

Подобным образом можно читать и книги Зенты Маурини, которые, как правило, состоят из небольших этюдов, эссе, интеллектуально-художественных медитаций. Неизменной в любом из этих этюдов, эссе остается интонация автора — всегда глубоко заинтересованная, эмоцио-

нально напряженная. Зента Мауриня никогда не бывает скучной. И в других людях, и в обществе в целом она не выносила скуки. З. Мауриня напоминает, что в Библии человек не знает скуки, явления, обозначенного английским *spleen*. И в латышских дайхах нет понятия скуки.

Зента Мауриня больше всего в своей жизни боялась лестниц и порогов. Она всегда мечтала о доме, в котором не было бы крыльца, узких дверей и других препятствий для ее коляски. На фотографиях она чаще всего запечатлена серьезной и погруженной в себя.

Центральное место в жизни Зенты Маурини очень рано заняла книга. В действительности книга стала жизненной необходимостью для этой интеллектуальной и творческой женщины, сидящей в инвалидной коляске. В значительной степени Зента Мауриня прожила жизнь, схожую с жизнью героя бунинского рассказа «Книга», прожив «полжизни в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалью, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой!»

Вынужденный образ ее жизни, по существу, определил метод ее литературной деятельности, точнее — отсутствие строгого метода. Работы Зенты Маурини большей частью представляют собой импрессионистский комментарий прочитанного, в центре ее этюдов, эссе или очерков — впечатления от доступного в данный момент текста, обусловленные зачастую сиюминутными настроениями и интересом. Зента Мауриня читала очень много, поэтому и высказывалась она о работах многих писателей и философов, не всегда пытаясь организовать полученный материал в исследование какой-либо более широкой темы.

Мне кажется, Зента Мауриня очень хорошо поняла бы строку из «Фауста» — «Ты равен тому, кого понимаешь». В начале 50-х годов она писала: «В молодости я посвящала

свои работы главным образом выдающимся духовным личностям, мне казалось, что только в их тени я могу дышать». Она часто повторяла, что любит только таких людей, которым знакомо страдание. 3 апреля 1961 года Зента Мауриня написала в дневнике: «Все, что я читаю, — это только поиск себя». В свою очередь в мемуарах «Земная песня» говорится: «Одна из моих страстей — отыскивать параллели в судьбах людей, которых в их земных путях разъединили время, пространство и культура».

Во время учебы в гимназии Зента Мауриня восхищалась Чеховым и Леонидом Андреевым, чей портрет позже украшал ее рижскую комнату. О Чехове она писала: «Его письма, его рассказы можно читать всегда, ибо они сочетают в себе три самых дорогих для прозы свойства — ясность, юмор и знание человека».

Большое место в духовном мире З. Маурини занимали Данте, Достоевский, Камю, которым она посвящала книги и эссе. Об исторической судьбе Данте она писала: «Каждый культурный народ имеет свои исследования о «Божественной комедии», но саму поэму читают все меньше. Начинают сбываться слова Вольтера: «Данте все хвалят, но мало кто читает». К такому же выводу пришел и Осип Мандельштам в своих мудрых монологах о Данте».

«Чума» Камю вызвала у Маурини ассоциации с трагизмом эмиграции: «После прочтения книги мне показалось, что Камю с ясновидением поэта изобразил нашу судьбу: судьбу изгнанных, несвободных людей, вырванных из привычного ритма жизни, вынужденных жить в ненормальных условиях». Она сравнивает двух представителей экзистенциальной литературы: «Экзистенциализм Сартра — это голый материализм, а экзистенциализм Камю — «реализм сердца»».

С уважением относилась Зента Мауриня к поэзии Пабло Неруды. Восхищалась прозой Макса Фриша, Германа Гессе, Ингеборг Бахман. Она часто цитировала Софокла, Плотина, Гете, Канта, Ницше, Шопенгауэра, Паскаля, Унамуно, Ортегу-и-Гассета, д'Аннунцио. Ей не нравилась набоков-

ская «Лолита». Лаконично охарактеризовала работу Хемингуэя «Смерть после полудня»: «Научный трактат о бое быков. Жестокое выражение несломленной жизненной силы».

Зента Мауриня с удовольствием читала письма и дневники Пруста, А. Блока, С. Цвейга. Развернутый очерк посвятила поэтике писем Гете. В своих книгах Мауриня говорит о дневниках А. Жида, Блока, Эмерсона, Камю, Гамсуна, Л. Толстого, С. Лагерлеф. Свои дневники (опубликованные в 70-х годах) сама Зента Мауриня называет «ночные мысли», очевидно потому, что события прожитого дня фиксировались в ночные часы.

Противоречивым было отношение Зенты Маурини к латышской литературе, особенно к современной поэзии и прозе. Она очень много писала об искусстве слова своего народа. В пределах ее внимания всегда были Райнис, Порукс, Барда, Бригадере, Акуратерс, К. Скалбе. Следила она и за эмигрантской литературой, упоминая в своих очерках Зинаиду Лазду, Карла Зале, Андрея Эглитиса. Молчала Зента Мауриня только о латышских советских писателях. Ни в одной из ее книг я не встретил ни А. Упита и В. Лациса, ни М. Кемпе и Я. Судрабалнса, ни А. Бэлса и В. Ламса, ни М. Бендрупе и В. Белшевиц.

Ни в коей мере это не объясняется недостатком информации. Так, Зента Мауриня, например, была в курсе того, что о ней пишут в газетах Советской Латвии. Она хорошо знала русскую советскую литературу. Читала поэзию А. Ахматовой, назвав Анну Ахматову и Пушкина «бессмертными поэтами». Зента Мауриня похвально отзывалась о «меланхолическом лирике» Булате Окуджаве. Писала о Евтушенко, его «природе летучей мыши»: «бывают моменты, когда он послушно выполняет волю партии и согласен ее воспевать, но вот в его стихах вновь — незаглушимый голос поэта, Невидимая Мадонна, которая не укладывается в запросы большевиков». Зента Мауриня заявила свою солидарность с протестом зарубежных ученых против антинаучной деятельности Лысенко, осудила пагубное влияние сталинизма на психологию советского общества.

Думаю, что больше всего именно беззакония периода культа личности и репрессии против невинных людей были одним из главных факторов, которые повлияли на отношения Зенты Маурини к социализму, Коммунистической партии и Советскому Союзу уже с 1940—1941 гг., когда в Латвии была восстановлена Советская власть и она встретилась с ней лицом к лицу в первый и единственный в своей жизни раз. Об этом в значительной степени свидетельствуют мемуары и дневники Зенты Маурини. Интересно в этом смысле сравнить ее высказывания 40-х и 50-х годов с высказываниями 60—70-х. В первый период времени ее антисоветские реплики носят довольно абстрактный характер. Зента Мауриня преимущественно использует такие расплывчатые конструкции, как индивид — масса, свобода — власть и т. п. В 60—70-х годах (частично уже во второй половине 50-х), когда после смерти Сталина в Латвию вернулись многие высланные, представления о репрессиях стали заметно конкретнее, и многое из этой информации, очевидно, дошло и до заграницы. И в высказываниях Зенты Маурини возрастает конкретность — упрек сталинизму.

В литературно-философских размышлениях Зенты Маурини главной является категория культуры. А главная сфера ее литературной деятельности — культурология.

Ее философские взгляды в свою очередь тесно связаны с так называемым антропологически экзистенциальным направлением современной философии, к которому относятся «философия жизни», феноменология, персонализм, некоторые теологические доктрины.

Главная цель этого философского направления, и Зенты Маурини в том числе, — это выяснение специфики бытия человека. На первом плане — вопрос, что такое человек и что нового он приносит с собой в мир. Ответ на этот вопрос пытаются найти, анализируя социально-исторический опыт самых разных эпох. Зента Мауриня главным образом опиралась на литературу, но также — и в значительной степени — на философское наследие. Особое отношение к XX столетию.

В трактовке нашего века ярко проявляется социальный и культурный нигилизм. XX век выдвигается как своего рода антипод, например, стабильного и оптимистичного XIX века. В XX же веке сохранение автономии и самоценности духовной автономии человека стало главной стратегической линией.

Книгам Зенты Маурини в значительной степени присущ так называемый идейный эклектизм, типичный для XX века. В ее философских взглядах доминирует фрагментаризм, впитавший в себя без системного упорядочивания учения многих философских школ. Мне кажется, что Зенту Мауриню чаще всего интересовала не столько концептуальная система какой-либо школы. Больше чем идейная доктрина, ее привлекала философская культура данной школы. Так, например, Зенте Маурине нравилась особая дисциплинированность, метафизическая отвлеченность немецкой философской мысли. Духовно близким ей было также стремление представителей экзистенциализма эмоционально, образно говорить о глубинных вопросах человеческого бытия. Зенте Маурине чужд был абстрактный академизм, демонстративное новаторство.

В философской позиции Зенты Маурини много общего с основополагающими тезисами «философии жизни». Она переняла, например, вывод «философии жизни» о том, что разум человека следует рассматривать во всем контексте человеческой жизни. Рационалистическая философия, чуждая образу мышления Зенты Маурини, она видела в разуме феномен, существующий и функционирующий по своим собственным законам. «Философия жизни» не принимает такого подхода и связывает разум и бытие человека в единое целое.

«Философия жизни» появляется как реакция против отчуждения человека в буржуазном обществе. И в книгах Зенты Маурини также очень много говорится о губительных последствиях отчуждения.

«Философия жизни» не старалась вскрыть социальные корни явления. И Зента Мауриня часто обходит социальные факторы, сразу переходя к изначальной спонтанной человеческой жизни, которая существовала

до и независимо от социального бытия. Жизнь Зента Мауриня воспринимает как иррациональную стихию, которой следует только покориться.

Книги Зенты Маурини нередко напоминают каталоги пессимистических афоризмов, когда пессимизм достигает ступени тенденциозности. Чаще всего З. Мауриня взирала на мир отнюдь не с радостным настроением, и оптимистическое мироощущение в ее работах встречается редко. А если и встречается, то все оптимистическое и прогрессивное идентифицируется у нее с духовным богатством человека и духовным прогрессом. Это типичный для «философии жизни» подход — позитивно оценивается только духовная жизнь индивида, историческое видение служит только для акцентирования духовных ценностей, а прогресс возможен только в области духа.

Антропологически экзистенциальная ориентация присутствует также в культурологических исследованиях З. Маурини. Она, так же как и другие представители названного философского направления, в культуре в основном видит самореализацию человеческой личности.

Так, например, Зента Мауриня адресует острые слова такому политическому строю, который не способствует свободной и непринужденной самореализации индивида. Она саркастически отзывается о массовой культуре и ее стандартизированном, мифологизированном мышлении.

Уже с 30-х годов Зента Мауриня обращается к таким темам, как культура и власть, культура и свобода, культура и трагедия, культура и духовная деятельность человека. Она ссылается на образ Прометея, считая, что он символизирует зарождение культуры и трагедии. Борьба Прометея против Зевса является как бы борьбой культуры против власти. В свою очередь, начало культуры есть начало трагедии.

У Зенты Маурини есть также попытки выявить сущность культуры. В этом смысле в ее подходе можно выделить несколько моментов. Она считает, что культура может развиваться только в свободном обществе. Это во-первых. Во-вторых, высшая форма культуры — это

духовная деятельность человека. И, в-третьих, культура невозможна без страданий, жертв и самопожертвования, ибо движение культуры всегда есть столкновение двух антагонистических сил.

Зента Мауриня попыталась сформулировать факторы, стимулирующие развитие культуры. Она поясняет, что первый «корень» культуры — это дерзновение, когда необходимо осмелиться включиться в борьбу за культуру. Второй «корень» — «жажда света», стремление к прекрасному и возвышенному. Третий «корень» культуры — это сострадательное отношение к духовной деятельности других людей.

С особым интересом Зента Мауриня всегда размышляла об отношениях между культурой и моралью. В этом вопросе ее позиция стабильна — ни одна культура не может обойтись без строгих моральных основ. Рассматривая понятия свободы и морали в культурологическом аспекте, она приходит к выводу, что свободен только тот, кто без принуждения подчиняется «высшему нормативному закону». В то же время в истории культуры громадное значение всегда имело благоговение. В эссе «Два корня культуры» она поясняет: «Благоговение — это вера в то, что людям и вещам присуща божественная сила и порядок, который все связывает и которому все должны подчиняться». И ссылается на Райниса: «Не топчи других, и ты возвысишься сам».

Предпочитаемым Зентой Мауриней жанром было эссе. Она, следовательно, выбрала жанр, который не является ни публицистическим очерком, ни документальным описанием, ни научным трактатом, хотя может соединять в себе функции как одного, так и другого и третьего. Определяющей в эссе является позиция автора. Если в статье или трактате автор знакомит читателя с результатами духовной деятельности, то в эссе он пытается дойти до истины сквозь призму собственного опыта, обнажая субъективно-эмоциональное движение мыслей и чувств. Ядро эссе составляет не система идей, а образы субъективной интерпретации мира. В эссе не столь важна логическая последовательность и строгость аргументов, здесь все ре-

шает подлинность чувств, вера автора в то, о чем он рассказывает читателю. Зента Мауриня всегда от всего сердца и от всей души верила в то, о чем писала, именно поэтому ее слова кажутся такими искренними.

Для публикации работ З. Маурини в журнале выбраны те сочинения, в которых максимально выражается ее культурологическая позиция — оценка современной культуры и отношение к таким важным во все времена вопросам, как национальное и интернациональное, национальное и космополитическое.

Очерк «Ложные пути преодоления скуки» с небольшими сокращениями переведен из сборника «Отвращение и спешка» («Arņicība un steiga»), изданного в 1962 году. Понятиями «отвращение» и «спешка» Зента Мауриня характеризует культуру XX века, в начале которого гремели две мировые войны, а затем людям стало скучно и они стали искать пути преодоления этой скуки в дешевых развлечениях.

Смысловое ядро очерка и его эмоциональный пафос объединены большей частью двумя фильмами Феллини. Первый из них «Дорога» («La strada», в советском прокате — «Они бродили по дорогам»), появился на зарубежном экране в 1954 году, другой — «Сладкая жизнь» («La dolce vita») — в 1960 году, вызвав в прессе широкую полемику, к которой в своем очерке так или иначе присоединяется и Зента Мауриня. Одна часть общества упрекала Феллини в тенденции к показу отвратительной грязи и кошмарной панорамы современности. Режиссер не прчет своей позиции, он действительно хотел отобразить моральное состояние человечества, где рушатся все идеалы и все установления. Относительно фильма «Дорога» он пояснял: «Наша беда, несчастье сов-

ременных людей — одиночество. Его корни очень глубоки, восходят к самым истокам бытия, и никакое опьянение общественными интересами, никакая политическая симфония не способны их с легкостью вырвать» (Феллини Ф. Статьи. Интервью. Рецензии. Воспоминания. — М., 1968, с. 66). Эти слова могли быть Зенте Маурине особенно близки.

По прочтении очерка может возникнуть вопрос — какой выход предлагает автор для преодоления жажды развлечений, перверсий и другого рода упадка? Надо заметить, что далее в книге она говорит именно о путях преодоления скуки. Зента Мауриня видит для этого два пути: первый — художественное творчество, которое может спасти мир, второй — труд: «Успешный труд дарит чистую радость, лечит разбитые сердца, укрепляет выносливость, учит смирению, придает благородство, как это хорошо известно латышу, и особенно — изгнаннику».

Этюд «Трагедия малых народов» взят из эссе «Секрет страданий» («Sāpju noslēpums») 1952 года издания. Мне кажется, что в этом этюде отчетливо проявляется способность Зенты Маурини смотреть на вещи и явления широко и глубоко, без самолюбивых заблуждений, даже когда речь идет о таком вопросе, как право наций на суверенитет. Этюд является яркой иллюстрацией и того факта, что Зенте Маурине всегда были близки такие личности, которые в науке, искусстве и литературе не знали национальных амбиций, она не признавала и осуждала шовинизм и стремление одной нации господствовать над другой.

В заключение хочу выразить благодарность философу Эдгару Муцениеку за оказанную помощь в поисках библиографии работ Зенты Маурини.



## ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СКУКИ

Перевела Клара ПРИЕДИТЕ

В современной литературе и в жизни я обнаружила три ложных пути, идя которыми человек тщетно пытается преодолеть пустоту своего существования: спешка, жажда жизни и разврат.

Современный человек стремится изгнать дьявола Вельзевулом — спешкой заставить бежать время быстрее; он всегда занят и нетерпелив. Во всех сферах он ускоряет темп жизни.

Неоварвар преодолевает пространство быстрее звука, но от смертельной скуки он убежать не в состоянии. За опьянение скоростью он расплывается мучительным похмельем.

Сегодня мы не путешествуем — мы мчимся.

Колумб переплывал Атлантический океан в течение десяти недель и открыл новый континент. Неоварвар перекрывает то же водное пространство за десять часов и открывает небоскребы скуки.

Гете трижды в своей жизни путешествовал по Италии. Как нам известно, такие путешествия осуществлялись в почтовых каретах; если лошади скакали быстро, то проезжали десять километров в час, и он бывал очень недоволен, когда кучер мимо живописных пейзажей проносился со страшной скоростью и путешественник ничего не мог ни видеть, ни слышать.

Гете вернулся из Италии духовно обогащенным. Мы путешествуем по Италии на скорости сто двадцать километров в час и возвращаемся домой с пустыми кошельками.

У Гете было время не только для того, чтобы писать свои гениальные

произведения, служить герцогу, руководить театром, посещать балы, кататься на коньках, он еще и поддерживал — и это удивляет больше всего — самые разнообразные отношения с друзьями и любимыми женщинами, а ничто другое не требует так много времени, как любовь и дружба.

Спешка и одуряющая возня коренятся, подобно скуке, во внутреннем пороке — неспособности отличить существенное от несущественного. Кто всегда торопится, тому не удается сделать ни одной ценной работы.

Доходы год от года множатся, но с ними увеличивается нервозная спешка, бегство от внутренней пустоты, страх перед небытием, венчающим непрожитую жизнь. Добровольные перегрузки не приносят удовлетворения, их результат — порок сердца, который в настоящее время является одной из наиболее частых причин смерти.

Символ нашей спешки — это мотоцикл, который сегодня может приобрести каждый. С этим средством передвижения — тупым, убивающим всякую духовность — лучше всего можно познакомиться в Неаполе и в Риме. Во время путешествия по Италии в 1961 году я хотела еще раз осмотреть фонтан Треви, который я видела впервые двадцать лет назад. Я мечтала увидеть его во всей его игривой первозданности. Я поехала поздно ночью, в надежде, что смогу предаться медитациям вблизи фонтана. Но — я не смогла и подойти к нему. Мотоциклисты озверело носились вокруг фонтана с застывшими, пустыми лицами, предаваясь ужасу бессмысленной жизни,

как майские жуки весенней ночью. Формула этого средства передвижения — три С: скорость, скудоумие, смрад. А так как итальянец наделен фантазией, то у каждого мотоцикла был свой специфический звук: они лаяли, трубили, стонали и сопели; кашляли и выли.

На скамейке сидела влюбленная парочка, а рядом вместо собачки, как это было в старые, добрые времена, — оружий ящик, который призван заполнить внутреннюю пустоту.

Выражение нашего лица с течением времени существенно изменилось: романтикам свойствен был восторженный вид, который сегодня даже выдающимся актрисам с трудом удается изобразить.

В наш деловой век люди тускло смотрят на мир; человек военного времени выглядел злым, фанатичным, сегодня он выглядит хмурым, недовольным. Быть кислым, слоняться в узких брюках без дела с нечесаными волосами и отвечать на вопросы недовольным мычанием или пожатием плеч — стало приметой хорошего тона. Эти полусилачи не потрудятся даже выдать из себя слово или предложение. [.]

Другой ложный путь — это жажда развлечений, обманчивая сытость, которая, так же как и скука, свидетельствуют о внутренней пустоте и неуверенности. Люди окунаются в развлечения со злым отчаянием. Пример дикого разгула нам наглядно показывает Феллини в фильме «*La dolce vita*» — апокалиптическом зеркале наивного, утопающего в благополучии общества. Этот фильм особенно впечатляет зрителя, если он помнит более раннюю ленту Феллини «*La strada*», где он вскрывает нищету социально неустроенной жизни. Тому, кто сопоставит эти два фильма в духовном плане, волей-неволей придется задуматься над хвастливыми словами Хрущева: «Я смотрю, что на западе плетут шелковую веревку, на которой я их перевешаю всех по очереди, как только придет мое время». Феллини обоснованно называет свой фильм религиозным, так как искусство поиска смысла всегда религиозно. Итальянский кинорежиссер находится под впечатлением Достоевского, но это не упрек ему: тяжелой по-

ступью по фильму проходят упрощенные Ставрогины<sup>1</sup>, карликообразные денди, дешевые прислужники, расчетливые негодяи и загнанная толпа моторизованных журналистов и фотографов, напоминающих стаи саранчи. Люди, не чувствуя голода, бегут из одного ресторана в другой; танцуют, не ощущая радости от ритмики движений. Героиня фильма на зависть всем купается в фонтане Треви, с которым Гете в свое время прощался со слезами умиления.

Насколько сильно впечатляет этот эпизод в фильме Феллини, я пережила во время посещения Рима в 1961 году. Площадь Петра с двумя фонтанами — это архитектурное чудо, превосходящее, возможно, даже *Fontana di Trevi*, так как диалог украшает и фонтаны тоже. Но беззастенчивый шум нарушает торжественную тишину площади. «Фиат» за «фиатом» останавливаются у фонтанов, но не для того, чтобы полюбоваться чудом играющей воды, а для того, чтобы бесплатно вымыть автомобиль. Но следы скуки несмылаемы.

Главный герой фильма Феллини Марчелло — это Ставрогин в миниатюре, человек-насекомое, не способный отличить доброе от низменного, он не чувствует необходимости сторониться зла. Все эти беспоконные фигуры ждут чуда, избавления, но ни один из них не чувствует ответственности за случившееся и за несделанное. Единственный думающий человек, зовущийся необъяснимо Штейнером, играет Баха и Бетховена и переживает столь мучительный страх небытия, что не только сам кончает жизнь самоубийством, но и убивает своих любимых детей. Интимные отношения, оторванные от индивидуальной неповторимости каждого человека, никому не приносят утешения. Чем безличностнее эти отношения, тем более опустошенными покидают партнеры свое ложе.

В мире Бодлера извечно женское увлекало мужчин вниз, в благополучном обществе Феллини извечно женское не увлекает мужчину вниз, но и не возвышает.

Пока в нашей культуре еще живо

<sup>1</sup> Герой романа Ф. Достоевского «Бесы».



лита<sup>4</sup> Содержание: болезненное, извращенное влечение пожилого мужчины, мучающее его при виде молодых девушек. Сюзанна в купальне — в этом нет ничего нового, новое то, что перед этой картиной становятся на колени. Из современной немецкой литературы за рубежом восхищаются романом, в котором рассказана история жизни карлика. Этот выродок, лишенный физического и духовного роста, более чем на ста страницах гадким и бессовестным образом излагает функции своих половых органов.

Чтобы освободиться от монотонности существования, Бодлер пытается найти забвение в искусстве поэзии, в живописи и музыке, в гашише и вине.

Современный карлик хватается за сельтерский порошок, который сыпет на пупок женщины. В былые времена немецкий человек в истории культуры занял свое место как камерный музыкант, неужели и впрямь сегодня он превратился в грубого барабанщика. Франция наводит книжный рынок запоздалым половым созревaniem. Полностью замалчиваются нежность человеческой души, сострадание, радость самопожертвования, любовь, которая охватывает человека в его телесном и духовном единстве.

Тщетные попытки преодолеть проклятие скукой беспрепятственным повторением полового акта — это излюбленная тематика итальянцев. О некоей безликой героине романа, не способной ни думать, ни чувствовать, не обладающей даже малейшей наблюдательной способностью, говорится: она была наделена только сексуальным аппетитом, но даже этого она не осознавала. И автор признается: «Если бы произошло чудо и я стал бы способен не два, а двести раз подряд овладеть ею, я был бы также неудовлетворен, как после первого раза... Ибо, чем больше я ее беру, тем меньше ею овладеваю — и если не по иной причине, то по той, что я затратил ту энергию, которая мне была бы необходима, чтобы овладеть ею по-настоящему». Другими словами: плот-

ская связь еще не рождает любви

Довольно примеров.

Пытаясь избежать пустоты в жизни, человек ищет спасения в смерти души, которую можно обозначить иностранным словом перверсия.

Сегодняшний всеоскверняющий разврат — это скорее хвастовство, нежели порок. Он коренится в инфантильном желании смутить равнодушных. Порок можно искупить хорошей работой и страданиями, а разврат погряз в нечистотах.

При взгляде на современную литературу создается впечатление, что у двуногого млекопитающего есть только две возможности преодолеть скуку — либо преступление, либо петля на шею.

Разврат — начало конца.

Если Эрот делает человека подобным богам, а сексуальное влечение уподобляет его животному, то извращения (перверсии) превращают человека в нечеловека. Извращенный человек, следовательно, это человек искалеченный, которому не хватает отношения к Тебе и для которого эпос совершенствования — всего лишь смехотворное понятие. Он накапливает пустоту в пустоте, ноша растет, а пустота остается. Раньше требовалась смелость, чтобы быть авантюристом, скептиком, нигилистом, сегодня, в эпоху зачатого гуманизма, необходима гораздо большая смелость, чтобы защищать этические ценности, чтобы верить в суверенную силу человеческого духа.

Развращенность деньгами не меньше зло, чем сексуальные извращения. Деньги как таковые, которые облегчают распределение труда, делают возможной индивидуализацию коллективной жизни, являются одним из мудрейших изобретений, они священны, в той степени, в которой способствуют развитию личности и культуры. Без состояния Медичи и без его понимания искусства Микеланджело не создал бы своих прекрасных произведений искусства, а без благородства Вернера Рейнхарта Рильке не смог бы закончить свои «Дуинские элегии»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Роман русско-американского писателя В. Набокова (1899–1977) вышел в 1955 году.

<sup>5</sup> Австрийский поэт Р. М. Рильке (1875–1926) свой знаменитый философский лирический цикл «Дуинские элегии» закончил в феврале 1922 года.

Людвиг Витгенштейн<sup>6</sup>, ненавидевший пустые слова и до последнего вздоха борющийся за правду, добрую часть своего состояния отдал в распоряжение Георга Тракля и Рильке<sup>7</sup>, предоставив таким образом им возможность одарить весь мир. Сам он работал садовником и народным учителем, во время преподавания в Кембридже жил в голой, похожей на келью комнатке и открыл новую страницу в одной из самых абстрактных наук — математической логике. Его последними словами на смертном одре были: «Скажи им, моя жизнь была удивительна!»

С тех пор как «экономическое чудо» стало в Германии банальной самоочевидностью, нас тревожат достаток и параллель самой отчаянной нищеты — нищета культуры.

Страсть наживы расхищает не только природные богатства и интеллектуальные способности, она топчет дух. Уважаемый становится не думающий и ценящий, а покупающий и продающий. Королева Швеции Кристина переписывалась с Паскалем и Декартом. Сегодня трудно представить, чтобы люди, возглавляющие правительство, переписывались с философами.

Все стремятся к роскоши, но наибольшая роскошь — это забвение. Выводы войны — если таковы вообще еще появляются — вызывают подавленность, никому ненужное неудовольствие.

Ф. Дюрренматт (*Dürrenmatt*) в

своей пьесе «Визит старой дамы»<sup>8</sup> бичует денежный разврат. Его саркастические удары обнажают внутренне искаленного человека. Внутреннее помещение пробуждает ужасы души. В некий нищий, заброшенный городок, в котором однажды ночевал Гете, а Брамс сочинил квартет, заявляется американская миллионерша, шлюха из шлюх Клер в сопровождении своего восьмого мужа (одн из ее многочисленных мужей был лауреатом Нобелевской премии!). Все склоняются перед ней и не моргнув глазом позволяют подкупить себя: суд, полиция, учитель, врач, священник — отвратительная стая стервятников вокруг денежной падали!

У Клер, единственной оставшейся в живых в авиационной катастрофе, переломаны все кости, она вся состоит из протезов. Убийцы, которых только миллионы Клер спасли от электрического стула, передвигают ее носилки. Два кастрата — ее телохранители. Деньги этой развратной женщины всюду убивают жизнь и совесть: «Мир превратил меня в шлюху, так я превращу его в бордель». Честен только тот, кто платит. Американские деньги повышают благосостояние, а благосостояние множит преступления. Во вновь построенном, бессмысленном, свободном от всяких норм и традиций городе «счастливые счастливо вкушают свое счастье» и дрожат за свое благополучие.

## ТРАГЕДИЯ МАЛЫХ НАРОДОВ

Иногда нам грустно, и мы угнетены тем, что в Западной Европе и Америке не знают латышской культуры. Но понятие о больших и малых, культурно значимых и незначимых народах относительно. Достоевский, внимательно следивший за развитием европейской культуры, ничего не знал о культуре скандинавской, хотя еще при его жизни вы-

шли основные произведения Ибсена и первые произведения Стриндберга. Сам же Достоевский в Западной Европе стал знаменитым только после смерти, несмотря на то, что долгие годы прожил за границей. Французский посол в Петербурге Вогюз (*Vogüë*)<sup>9</sup>, женатый на русской, в год

<sup>6</sup> Людвиг Витгенштейн (1889—1951) — австрийский философ.

<sup>7</sup> Австрийский поэт Георг Тракль (1887—1914), а также Р. М. Рильке, очевидно, не могли использовать заветы философа.

<sup>8</sup> Пьеса «Визит старой дамы» швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта (р. 1921) вышла в 1956 году.

<sup>9</sup> Речь идет о знаменитом французском писателе и историке литературы Эжене Мелькиоре де Вогюэ (1848—1910).

смерти Достоевского написал первый французский очерк об этом, теперь общеизвестном писателе и упрекнул своих соотечественников в том, что им не известен один из величайших умов Европы. В наши дни в европейской культуре начинается переориентация: делается вывод о том, что лицо Европы определяют не одни только империалистические государства. Когда в 30-е годы вышла книга Ф. Верфеля «*Die vierzig Tage des Musa Dagh*»<sup>10</sup>, изображающая гибель армянского народа, то ей не придали особого значения, а изложенную в ней трагическую проблему — истребление малого народа — полностью оставили без внимания. Сегодня же, напротив, работы Хальдура Лакснеса и Н. Казандзакиса<sup>11</sup> высоко котируются главным образом, разумеется, потому, что упомянутые исландец и грек — талантливые писатели, но также и потому, что в обществе пробуждается интерес к страданиям малых народов. Исландец, атеистический идеалист Лакснесс, угрюмый и сильный человек, с ненавистью восстает против всех угнетателей своей земли: датчан, шведов, американцев. Грек Казандзакис — напротив, глубоко верующий человек, защищающий право маленького христианского народа на жизнь и свободу. Он восстает против насилия, как революционного, так и турецкого, а в своем народе — против лентяев и равнодушных, против пресмыкающихся перед тиранами. Упомянутые писатели особенно меня привлекают потому, что всю мою сознательную жизнь меня интересовала проблема взаимодействия народов. Европа обречена на гибель, если воинствующий национализм не станет толерантным. Как в Европе немислим ни один народ, полностью замкнувшийся в себе, так и наш континент не сохранит своего лица, если каток равенства уничто-

<sup>10</sup> Роман австрийского писателя Франца Верфеля (1890—1945) «Сорок дней на горе Миса Даг» издан в 1934 году.

<sup>11</sup> В произведениях исландского писателя Хальдура Лакснеса (р. 1902) и греческого писателя Никоса Казандзакиса (1883—1957) часто ставятся проблемы национальной самостоятельности, выражен протест против угнетения и несправедливости.

жит географические, исторические и духовные особенности отдельных народов, особенности, которые у малых народов иногда ярче, чем у больших. Но на открытом поле боя один против десяти долго не устоит. И так рождается трагическая красота малых народов, упрямо жаждущих жить. Разве народ должен погибнуть только оттого, что 2 миллиона человек имеют меньшую ценность, чем 200 миллионов? И разве отдельный индивид дешевле от того, что принадлежит малому народу? Разве численность народа придает силу голосу говорящего? Разве работа того писателя, который принадлежит к 200-миллионному народу, имеет а priori большую ценность, чем писателя, принадлежащего к двухмиллионному народу? И разве слезы латышского сироты и изгнанника не так же горьки, как французские или английские слезы? За время моего восьмилетнего опыта изгнания я часто убеждалась в этом, хотя такая постановка вопроса — не христианская и не европейская. Христос ради одной пропавшей овцы оставляет в пустыне 99 и идет искать эту одну, а найдя, он, ликуя, поднимает ее себе на плечи и, придя домой, созывает своих соседей и друзей, чтобы и они порадовались вместе с ним. И Гераклит говорил: «Один для меня более ценен, чем десять, если этот один благородного нрава». Если бы этот греческий и христианский подход снова расцвел бы во всей Европе в области искусства, науки и в жизни, то мы имели бы мощное противодействие против абстрактной массовой идеологии Восточника, которая отдельного человека приносит в жертву государству и будущему. Огромные средства вкладываются в военные вооружения, а внутренняя культура между тем оказывается заброшенной, и это готовит почву для краха Европы. Даже мы, латыши, малый народ и замкнутый по своему характеру, впадаем иногда в вулгарный массовый психоз. Мы забываем, что неповторимость — это самый прекрасный дар, данный человеку для того, чтобы развить его до наивысшей ступени.

Публикация **Артура ПРИЕДИТИСА**

## ДОНАЛЬД ВАН АТТА: «БЕЗРАБОТИЦА МНЕ НЕ ГРОЗИТ...»

С семейством Ван Атта мы познакомились 18 марта с помощью газеты «Советская молодежь» — точнее главным образом с третьеклассницей Сюзен (в семье ее зовут по второму имени Алисой), которая учится в одной из рижских школ, пока ее родители заняты делами.

Доктор Дональд А. Ван Атта — профессор политических наук Хэмптон колледжа, что в штате Нью-Йорк, он специалист по сравнительному изучению политических систем СССР и США; конкретно же сейчас его интересует внедрение бригадного подряда в сельском хозяйстве, и именно этим объясняется его долгое пребывание в Союзе (профессор исколесил уже не одну тысячу километров по республикам Союза), в частности в Латвии, где он усиленно занимается в республиканской библиотеке.

Мама у Сюзен и пятилетнего Дана русская, Тамара, бывшая ленинградка, вышедшая замуж за Дона десять лет назад, когда он стажировался в Ленинградском университете — так что никаких трудностей с языком в беседе у нас не возникло, главным образом и потому, что Дональд совершенно свободно владеет языком, понимая и слэнг, и юмор, и даже подтекст.

Впрочем, подобным методом пользоваться нам не приходилось. Разговор был открытым, откровенным и в незначительной степени доброжелательным. Оговорку делаю потому, что Дональд Ван Атта не относится к числу тех восторженных обожа-

телей нашей страны, которые, закрыв глаза, оправдывают даже то, что мы сами осуждаем; профессор Ван Атта относится к нашей стране внимательно, пристрастно, с искренним стремлением понять и нас и страну — понять, а потом рассказать своим студентам, пишущим рефераты по материалам советской прессы: кто мы и что.

Разговор наш длился несколько часов. Уже приобретенная американская деловитость Тамары и ее сохранившееся русское гостеприимство, сочетавшееся с непринужденностью собеседника, заставили забыть о времени.

— **Первый мой вопрос, уважаемый профессор, напрашивается сам собой: почему СССР? Почему вас интересует наша страна, с которой у немалой доли американцев связано столько не лучших представлений — по крайней мере, так было еще недавно...**

— Да, долгое время мы воспринимали существование вашей страны как угрозу нашему государству, всему западному миру, системе его ценностей. Но с тех пор и Америка прошла непростой путь. Был Вьетнам, уроки которого заставили задуматься многих американцев. В то время я еще учился в колледже. Сейчас в Америке армия построена на добровольческой основе, а в те годы я был готов пойти в тюрьму за отказ служить в армии по мотивам совести. Может быть, именно тогда у меня и зародился интерес к политике, к ее движущим пружинам, влияющим на жизнь сотен стран и

миллиардов людей. В круг моих интересов вошли труды крупнейших ученых (включая Маркса), социологические изыскания; этот материал должен быть подвергнут осмыслению и анализу... Да, к СССР относились тогда как к врагу. И у нас местонахождение бомбоубежища знал каждый американец. Правда, в одном из них мы с приятелем устроили вечеринку с выпивкой... Еще с 30-х годов и особенно после войны в Америке было немало людей, относящихся к вашей стране более чем доброжелательно. Но после войны, после разоблачений XX съезда партии появилось определенное разочарование в вашей системе, хотя история левых течений в Америке — тема очень сложная. Но речь о другом...

Если стоит задача изменить мир (а ведь именно к этому призвал Маркс), надо первым делом понять его. Понять, как он устроен. Почему потерь и неудач может быть даже больше, чем успехов.

СССР первым в мире приступил к такому объемному крупномасштабному опыту. И несмотря на все многолетние старания вашей пропаганды представить путь СССР как непрерывное восхождение, вы, конечно, лучше нас, американцев, сегодня понимаете, что действительность имела очень мало общего с нарисованной картиной. Но не злорадство должен вызывать этот факт, а желание понять, изучить ваш опыт...

**— Какой период в истории нашей страны интересует вас больше всего?**

— Специалистов моего профиля еще недавно было принято называть у вас «советологами» или даже «кремленологами», что... ммм... носило не очень приятный оттенок. Но, строго говоря, я политолог, специалист по сравнительному изучению государственного строя. Я читаю курс современной советской политики; меня же интересует период начиная с прихода Брежнева.

**— Но ведь это время называют еще и временем стагнации; принято считать, — и мы об этом открыто говорим, — что наступательное движение страны в то время сильно замедлилось, почти остановилось...**

— С одной стороны, так. С другой, я считаю, именно в те годы зрели силы, которые дали начало курсу перестройки, которая, конечно же, привлекает меня.

**— Кстати, имеете ли вы возможности как-то реализовать ваши знания о Советском Союзе?**

— Я не переоцениваю свои способности, хотя достаточно регулярно читаю советскую прессу. Время от времени мне звонят с местной нашей телестудии, просят прокомментировать то или иное событие в жизни СССР. И я говорю то, что знаю, что думаю — так это и идет в эфир, подвергаясь лишь минимальной стилистической правке. Но я никогда не ставлю точек над «i», оставляя место мыслям моих слушателей и зрителей.

**— Какие аспекты в жизни нашей страны интересуют вас больше всего?**

— Ну, сейчас я изучаю сельское хозяйство, и в частности развитие бригадного подряда, поскольку успех сельского хозяйства — это успех всей сегодняшней политики. Но мне бы хотелось, чтобы наш разговор носил более широкий, что ли, характер. Учтите, что я не историк, я не могу аргументированно, во всем объеме оценивать все периоды вашей непростой истории.

Меня интересует динамика развития страны именно сегодня, ее руководство. Любопытно было прочитать недавнее интервью первого секретаря Московского горкома партии Л. Зайкова, сменившего Б. Ельцина, журналу «Ньюсуик» о том, как работает Политбюро. Из него я узнал, что споры, разговоры, дебаты на его заседаниях длятся иной раз по 10—11 часов, кончаясь поздним вечером. Кстати, излагая эту тему я, увы, оказался плохим проком...

**— Интересно...**

— При американской системе высшего образования преподаватель, предлагающий свои услуги тому или иному колледжу или университету, читает перед составом «своей» кафедры доклад на тему своих исследований. Мне довелось выступить с таким сообщением как раз в то время, когда после кончины Андропова подходила к концу и «эра Черненко». Для меня было ясно, что



на смену ему придет именно Михаил Сергеевич Горбачев, но... я недооценил его. Я высказал предположение, что Горбачев изменит кое-что в жизни страны, но реформы его будут носить не кардинальный характер, затронет он не так уж много... Я откровенно признаю свою ошибку. То, что он пытается делать, привлекает к нему огромное внимание.

— **И ваше тоже!**

— И мое, хотя, может быть, в меньшей степени: все же я политолог. Но сам тот факт, что вы берете у меня интервью и у нас есть основания увидеть его в печати в неискаженном виде, говорит о многом.

— **Какие наши проблемы вы считаете самыми острыми?**

— Вчера еще этот вопрос мог прозвучать очень злободневно, сегодня же я думаю, что вы задаете его из вежливости... Вы сами знаете свои проблемы не хуже, а гораздо лучше нас — ведь не случайно самым сенсационным чтением у вас сейчас являются не самиздат, не бестселлеры, а периодика, статьи Лисичкина, Шмелева, Стреляного. Но все же кое-какие проблемы назвать можно.

Вопрос политических гарантий, необратимости перестройки, безопасности личности, позволяющей себе не соглашаться с господствующей точкой зрения.

Организация и функционирование органов власти, о чем рядовой советский человек, как ни парадоксально, знает меньше, чем об американской политической машине.

Возможность появления безработицы (у вас же, простите, 10 человек делают работу одного, и с этим рано или поздно придется кончать) и необходимость уже сегодня предусматривать меры борьбы с ней.

Роль и место партии в системе управления государством.

Ну и... впрочем, читайте ваши же собственные газеты и журналы.

— **А что вы можете сказать о тех же проблемах в США, то есть о ваших «болевых точках».**

— Вы знаете и о них. Они очень остры. Достаточно назвать наркоманию. Это очень большая и страшная проблема, тем более что сейчас появился «крэк», новый вид силь-

нодействующего наркотика, привыкание к которому происходит очень быстро. Но вот истолковываете вы наши проблемы несколько по-иному, чем мы. Во-первых, мы не дожидаемся, пока проблема приобретет глобальные размеры, а стараемся как можно раньше и острее сказать о ней, пусть даже и с оттенком сенсационности. Второе. Пусть даже мы не можем — или не хотим — сразу решить какую-то проблему, но мы стараемся воспитать у американца чувство, что и от него зависит очень многое, что он может что-то сделать, он лично — и это очень важно. И отдельные люди, группы, сообщества активно вступают в борьбу против того, что они считают неверным. Достаточно назвать дело Леонарда Пелтиера, дело, безусловно, сфабрикованное... хотя исход его не ясен.

У нас нет одного механизма власти. Их, этих механизмов, много: наряду с федеральным уровнем — на уровне штатов, графств, городов. И более того — каждая группа активистов, или, говоря вашим языком, неформалов — это, мы считаем, тоже основа власти.

— **Вы, конечно, помните такой термин «конвергенция», когда лет 10—15 тому назад, если не ошибаюсь, некоторые американские политические мыслители говорили, что в результате конвергенции и политические и экономические системы СССР и США в конечном итоге станут идентичны. Сейчас снова порой приходится слышать такие разговоры. Ваше мнение, профессор!**

— Термин этот пустил в ход Збигнев Бжезинский (интервью с ним было опубликовано в мае в «Московских новостях»). У него есть одно достоинство: он ухитряется сформулировать и сказать то, о чем широко начинают говорить через полгода.

Конечно, развитые технологические общества приобретают некоторые сходные черты — это естественно: скажем, телефонизация, автотомобилизация, внедрение электроники вносят в быт страны куда больше общего, нежели сохраняют различия. Кроме того, у каждого общества есть функции, которые она должна стараться воплощать наилучшим образом — например, производство в самом широком

смысле слова. Есть и такая точка зрения у некоторых ученых: на смену демократическим обществам придут технократические, но так ли это будет, утверждать сейчас не берусь... Дело в другом. Несмотря на все внешнее сходство этих неизбежных процессов, которые так и хочется назвать конвергенцией, каждая страна по-своему воплощает их в жизнь. И старается это делать наилучшим для себя образом. Мой личный опыт, опыт политической жизни моей страны убеждают меня в том, что максимальные результаты достигаются в том случае, когда каждый гражданин страны убежден, что и он участвует в принятии решений, когда, скажем так, в формулировках отчетов о заседаниях Политбюро есть и его доля участия. То есть не надо принимать за конвергенцию чисто внешнее сходство, которое часто может обманывать.

**— Обыкновенный рядовой советский человек — что вы можете о нем сказать!**

— Боюсь, что тут придется вас разочаровать — немного. Дело в том, что круг моего общения — это ученые, политики, исследователи; много времени я провожу в библиотеках, в научных учреждениях. Но об одном явлении не могу не сказать. Стало меньше ксенофобии, страха общения с иностранцами, хотя до идеала еще далеко. И Тамара и я — оба мы практически свободно говорим по-русски, и бывают случаи, что начавшуюся откровенность собеседника смывает как волной после того, как он узнает, кто мы такие. Как случилось у Тамары однажды в такси — она с юмором рассказывала о наглухо замолчавшем шофере, который начал было жаловаться на плохие заработки...

**— «Образ врага» — вам, конечно, знакомо это выражение. Откуда оно взялось, по вашему мнению!**

— Проще всего было бы сказать — бог его знает. Но тут есть о чем поговорить — и не столько об «образе врага» (с его стереотипами и мы и вы отлично знакомы), сколько о том, как надо от него избавляться.

Гонка вооружений идет от страха. От страха за безопасность своей страны. Страна должна быть в неприкосновенности. Это главное, это

все, этой задаче подчинено все без остатка. Чем она может быть обеспечена? Естественно, только силой. Да такой, чтобы все боялись. Но ведь и сосед думает так же. И поступает так же. Это путь без конца. Точнее, ведущий в пропасть. У нас есть «дилемма безопасности», которая считает, что страны мира, в особенности европейского континента (впрочем, мир сейчас очень «сблизился»), должны думать о совместной безопасности, основанной не на догмате силы, а на уровне достаточной защиты. Тогда исчезнет необходимость в создании образа врага, врага, который достоин только полного уничтожения — и не меньше. Эти же мысли проводит Горбачев, пропагандируя «новое мышление». Но, не видя обиду ему будь сказано, сходные мысли давно уже высказывали некоторые наши теоретики, и сейчас мышление советского политического руководства пришло к тем же реалиям, что может только порадовать подавляющее большинство американского народа. Примерно таких же концепций придерживался президент Картер, и остается только задним числом сожалеть, что в застойные ваши времена Брежневу не удалось найти с ним общий язык. Рейган многого не понимает; он скорее сторонник старого мышления. Как в свое время, будучи председателем актерской гильдии в Голливуде, он сцепился с коммунистами, так до сих пор у него и сохранилось старое предубеждение к ним. Но, как каждый президент, уходящий со сцены, он хочет завершить свое правление эффективным жестом, не говоря уже о том, что политические реальности (к числу которых я бы отнес и большое личное обаяние Горбачева, его умение дискутировать) заставляют его отказываться от своих застарелых взглядов.

**— Вопрос, интересующий меня как профессионала — ваше мнение о нашей прессе, о гласности.**

— Некоторые советские издания я выписываю у нас в колледже, много читаю здесь — насколько позволяют мои основные занятия. Читать очень интересно. Но вот что я бы хотел сказать: гласность — это прекрасно, но сама по себе она не представляет большой ценности, и парадокса в этом нет. Гласность

нужна для того, чтобы менять взгляды людей, что в свою очередь, должно выражаться в их изменившихся отношениях к работе, к делам, к стране, между собой — то есть гласность должна приносить практические результаты. Конечно, процесс это долгий, но пока нельзя не сказать, что ваша пресса вырвалась вперед, а «тылы» (скажем, перестройка в промышленности, в сельском хозяйстве) идут куда медленнее. Ни в коей мере не хотелось бы, чтобы это воспринималось как некий упрек в адрес вашей страны. Ведь еще Чаадаев писал об отсутствии в России демократических традиций. Горбачев, чьи взгляды, я не сомневаюсь, выражает подавляющее большинство вашей прессы, взял очень круто (достаточно сказать о его речи на съезде колхозников, развитие кооперативного движения

и многие другие начинания), но может быть, я думаю, именно такой путь и нужен России, революционный, с крутыми поворотами, смелый и решительный.

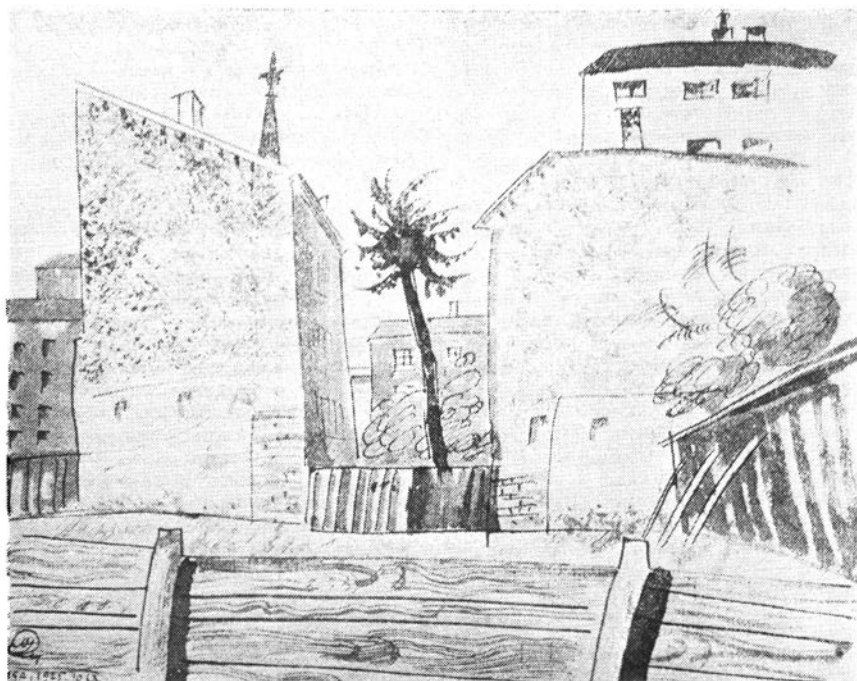
Да, пока социализм не реализован в полной мере, пока не удалось свершить то, к чему призывали классики марксизма; на этом пути было много потерь и жертв, о которых мы сожалеем так же, как и вы

Но, наверно, мир не мог бы развиваться без опыта вашей страны

Так что хочу закончить нашу беседу на оптимистической ноте: как специалисту по вашей стране безработица мне не грозит.

— Спасибо за беседу.

Встречался с профессором  
Дональдом Ван Атта  
Илан ПОЛОЦК



Улица Мельничная (Дзирнаву). 10 сентября 1925 года. Репродукция из журнала «Перезвоны», № 10 1926 года

## ДОБУЖИНСКИЙ В РИГЕ

Мстислав Добужинский принадлежал поколению, открывшему для себя и для своего читателя и зрителя «души городов». Вслед за поэтами и художниками ту же задачу — познания лика города и восстановления его образа как реальной собирательной личности — поставила перед собой русская гуманитарная наука начала века. Один из ее блистательных представителей профессор Иван Гревс неоднократно писал о необходимости «понять город, не только описать его, как красивую плоть, но и почуять, как глубокую, живую душу, уразуметь город, как мы узнаем из наблюдения и сопереживания душу великого или дорогого нам человека»<sup>1</sup>. Любопытно, что одним из объектов гревсовского городоведения была Рига, в которой взгляд петербуржца уловил знакомые черты: «Заросль шпилей над чешуею домов образует индивидуальность физиономии Старой Риги, но и отличительную черту вида городов остзейского средневековья вообще. Такая особенность городского монументального профиля увлекла у нас Петра Великого по впечатлениям от Германии и Голландии; он стремился и в Петербурге насадить такую архитектуру; о ней сейчас напоминает игольчатый золотой шпиль Петропавловского собора, и ...светла Адмиралтейская игла»<sup>2</sup>.

В Добужинском современников поражало его умение «уловить искры творчества, вкрапленные в камни городов»: «Ему одинаково близки важные просторы огромных площадей и закопченная теснота закоулков и переулков, где глаза большинства видят только уродство и грязь»<sup>3</sup>. К загадкам Добужинского относится остроумие, исполненность смыслом, затаенным содержанием всех его многочисленных заборов, дворов, тумб, брандмауэров, штукатурных борозд на кирпичных стенах слепых фасадов<sup>4</sup>. Иные выводили самозаконное обаяние Добужинского из его «петербуржства»: «Переложите свойства Петербурга на душу художника — вы получите благородство, четкость, умственность, — какой-то фон графики под всяким творением; некоторую призрачность, лишнюю ощущение глубинности, бледность, толкуемую чужими как слабость, своими как одухотворенную тонкость; отсутствие шумной красочности, пышности, многообразия; понимание — отсюда и налет иронии, сдержанно-строгое оформление. Отсюда склон к сознательной стилистике и стилизации... Даже когда Добужинский пишет углы провинциальных городов, он дает их не изнутри их местной психологии (как дает их, например, Шагал), а в созерцании столичного туриста, гла-

<sup>1</sup> Предисловие И. Гревса в кн.: Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пг., 1922, с. 10.

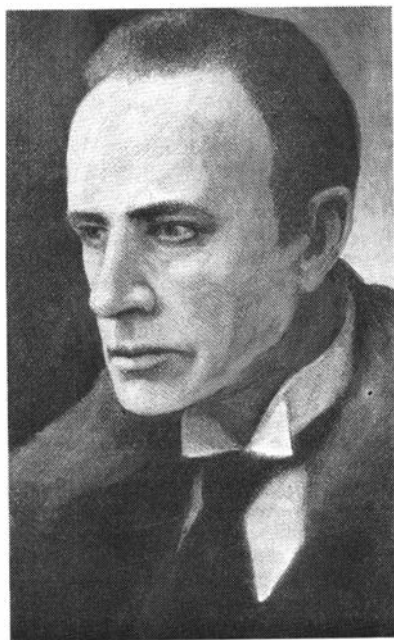
<sup>2</sup> Архив АН СССР (Ленинград), ф. 726, оп. 1, № 186, л. 41-об.

<sup>3</sup> Тыркова А. Выставка М. В. Добужинского в Лондоне. — Сегодня. Рига, 1937, 30 мая.

<sup>4</sup> См. об этом: Лукомский Г. М. В. Добужинский. — Накануне, Берлин, 1923, 5 августа.

зом петербуржца»<sup>5</sup> Склонный себя причислять к последним хранителям петербургской поэтики, Иван Лукаш<sup>6</sup> возводил чары Добужинского к Гоголю: «Я ничего не оцениваю, я делюсь моими впечатлениями, и мне кажется, что линия Добужинского всегда как бы отдельно от плоскости, выходит за ее пределы, сходит с полотна или картона,— вибрирует, и вне их, невидимо, в воздухе, вокруг зрителя. ... Страшный «Портрет» Гоголя вспоминаешь перед его работами. Его Петербург тоже «выходит из рамы», окружает вас со всех сторон, следует за вами как наваждение,— с вами живет»<sup>7</sup>. Другой петербуржец предлагал еще одно объяснение пленительности художника: «В сущности разгадка магии Добужинского — очень простая, такая простая, что раскрытие ее похоже на трюизм. Он любит то, до чего коснулся. Но любит не просто эту «данность», момент, фотографию внешнего, минуты,— а ее становление, вещь *im Werden*. У него не «месяц в деревне», не просто александровский амфир, а история этих кресел, череда дней в тихой усадьбе, родившая понемногу, повторением, многократностью, баюканьем — и эти завитки, и колонны, и паркет, и висюльки хрустала. Его «кизвозчики», «разносчики», «татары», «мамки», лиценцисты, солдаты, чиновники, городовые и дворники Санкт-Петербурга — не портреты, не типы. В них тоже эта «магия Добужинского» — наслаение времени, текучесть, ощущение дней, годов. Полотна Добужинского словно «излучают время». Развертывают ленту обратно. Показывают нам зарождение жизни, становление ее, молекулярное наслаение ее»<sup>8</sup>.

Неотделимо слившийся с ликом Петербурга за два десятилетия своей художнической деятельности, 29 ноября 1924 года Добужинский навсегда покинул бывшую северную столицу. Отчаявшись дожидаться ис-



М. В. Добужинский

полнения пустых нэповских обещаний, он перебрался на постоянное жительство в Литву. 1 декабря он приехал в Ригу. Здесь у него были знакомые — в записной книжке отмечены визиты к художникам Вильгельму Пурвиту и Сергею Виноградову, к А. И. Гришину, бывшему сослуживцу по Большому драматическому театру в Петрограде, ныне — директору Рижского театра русской драмы<sup>9</sup>. Здесь же он осуществил одну театральную постановку — забегая вперед, можно сказать, что это была единственная его осуществившаяся сценическая работа в Риге. Собственно говоря, работа эта во многом была повторением опыта пятилетней давности. В 1918—1919 гг. он тесно сотрудничал с литературно-художественным кабаре «Привал

<sup>5</sup> Ландау Г. Петербург (На выставке Добужинского). — Рувль, Берлин. 1926, 27 мая.

<sup>6</sup> См. о нем: «Даугава», 1988. № 6.  
<sup>7</sup> Возрождение, Париж, 1929, 2 июля.

<sup>8</sup> Горный С. [А. А. Оцуп]. «Витовт» Добужинского в Берлине. — Рувль, 1931, 10 июля.

<sup>9</sup> Здесь и далее цитируются без дополнительных оговорок дневники, записные книжки и переписка Добужинского, хранящиеся в его Фонде в Государственной республиканской библиотеке Литовской ССР, сотрудников которой благодарим за щедрую помощь.

комедиантов» в Петрограде. Ночные встречи людей искусства в голодном городе были пронизаны каким-то нервным весельем — одним из документов, относящихся к этим подвальным бдениям, остался «гороскоп», составленный Луначарским по линиям рук Добужинского в ночь на 4 марта 1919 г. на капустнике в «Привале»: «Много линий таланта, «типично для дилетанта», на левой ладони — ни одной преобладающей — показывают разносторонность способностей. Но на правой руке резко выражена одна преобладающая, показывающая, что выбран один определенный путь в искусстве. Можно сказать, что сторона «идейная», сторона «содержания», вообще интеллект, доминирует в творчестве». 26 апреля 1919 года в «Привале» состоялась премьера «Сказок Андерсена». В этом спектакле Добужинский выступил не только как декоратор, но и как автор инсценировки и как сорежиссер. Вот этот-то андерсеновский спектакль он и повторил в декабре 1924 года в рижском русском Камерном театре в сотрудничестве с режиссером А. А. Рустейкисом. В это детское рождественское представление, прошедшее всего несколько раз, была включена и сказка «Иванушка-дурачок» по эскизам сына Добужинского — Ростислава. Сохранились схемы-эскизы андерсеновского спектакля, разработанные Добужинским, — пластическая развертка мизансцен.

Еще в 1923 году в Рижском городском художественном музее прошла выставка графики Добужинского. В сентябре 1924 года заведующий музеем К. И. Юрьян писал ему в Петроград: «Графический наш кабинет к Вашим услугам, как и в прошлом году». Новая выставка проходила с 28 декабря 1924 года по 26 января 1925 года. Корреспонденция поэта и критика Виктора Третьякова описывает художника, который ходил по залам и давал пояснения к работам: «... прямой, тонкий и высокий, уже слегка седой, но все еще бодрый... У него в лице что-то петербургское: ясность, четкость, легкая насмешливость и тонкая художническая изощренность и культура»<sup>10</sup>.

Девятьсот двадцать пятый год Добужинский по большей части провел в Риге (с выездами в Каунас, Берлин, Клайпеду, Таллин, Тарту, Кенигсберг). В Риге он ходил в театры и позднее говорил интервьюеру: «... в Латвии меня, долголетнего работника по театру, поразила высокая культура здешнего театра»<sup>11</sup>. Он присутствовал на фестивале рижских художников 14 марта и отметил в дневнике: «Ко мне подошли из Dailies teātris Мунцис, их декоратор, мой бывший ученик, который это вспоминал и благодарил<sup>12</sup>, и актеры этого театра». В конце июля — августе он жил на хуторе «Амарниеки» около озера Валгума, сделал несколько набросков этих мест и близлежащего Смарде. Летом владелец книжного магазина (на ул. Валдемара, в настоящий момент — улица Горького, дом 17, напротив музея) В. Романовский, готовивший к изданию сборник поэтесс Ольги Далматовой-Шмидт, попросил Добужинского нарисовать обложку к этой книжке. Добужинский познакомился с поэтессой и бывал у нее впоследствии.

24 августа Добужинский записал: «Решил устроить выставку у Романовского. Рисую Ригу, сделал 4 рисунка раскрашенных. Изучил наконец город. ... Заказ сделать обложку для нового журнала «Перезвоны»». Двухнедельная выставка у Романовского открылась 1 сентября («на выставке продажа туватов», — отмечено через неделю). Были выставлены два амарниеских пейзажа, три рижские акварели — «В Старом городе», «На набережной», «Реформатская улица». В сентябре он продолжает разрабатывать рижские темы: «Был большой взрыв к рисованию, сделал маленькую серию — свободные копии — моей Риги, Гаага и из окна — чернила». Появляется и вид ул. Кришьяна Барона — здесь на квартире мадам Платц в доме 49 (квартира 2) Добужинский жил в 1925 году. Фраза «изучил наконец город», да, кажется, и само настроение рисунков не наводят на

<sup>11</sup> Слово, Рига, 1925, 16 ноября.

<sup>12</sup> Мунцис Янис (1886—1955) — сценограф Художественного (Dailies) театра, который в годы первой мировой войны работал помощником декоратора в театрах Петрограда и Москвы.

<sup>10</sup> Сегодня, 1925, 3 января.

мысль о «столичном туристе», как сказано в одной из цитат, приводившихся выше. Что же касается рижского журнала «Перезвоны», несколько лет выходившего с обложкой и виньетками Добужинского, то журнал этот заслуживает особого разговора. Здесь скажем только, что Добужинский ввел в основывавшийся тогда (первый номер вышел 8 ноября) журнал своего встреченного в Риге бывшего сотрудника по Большому драматическому театру Николая Исидоровича Мишеева (Голембу). Это имя встречается в дневниках и записных книжках Блока: «Очень значительные разговоры с Мишеевым», «большие разговоры с Мишеевым» (1919). Через полтора года Блок разочаровался в новом знакомом: «Этот профессор Мишеев — талантливый, пошлый, бестактный поляк, неумный, но очень сметливый господин... Карьерист. Горький, читая пьесу, все время поправлял слог, как он делает это всюду». В 1938 году так и не сделавший карьеры журналист и драматург Мишеев писал Добужинскому: «Блок в своем дневнике «что-то» такое напечатал обо мне и о Горьком... Не знаю что, не читал». В специально посвященном Добужинскому номере «Перезвонов» Мишеев в статье «Поэт современного города» попытался дать истол-

кование рижским рисункам художника:

«„Уголок Риги. Мельничная улица“ (рисунок пером и кистью), — где кажущаяся строгость линии домов вдруг сбивается «комичным деревом», вызывает в нас ту улыбку, с которой художник набрасывал и, притом, поспешно свой рисунок, боясь потерять впечатление, вызванное у него местом. Одна из «гримас» города видится здесь. «Рига. Шумная ул.» (акварель) — подтверждает способность М. Добужинского вскрывать те черты на лице города, которые простому смертному невидимы, и в то же время вводит нас в психику города как города, каменные массы которого и в прошлом его «поядают» человека, выстроившего их на гибель себе. «Человек уйдет, а мы останемся», — говорит эта жуткая, опустевшая вдруг улица, уставленная странной формы угрожающими домами. На картине царит твердая линия, в о л е в а я, именно — в домах; «линия же чувства», согнутая в своем выражении, вьется на земле, придавленной этими домами. Картина одна из удачнейших у М. Добужинского за последнее время. Город, который борется с землей, победив человека»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Перезвоны, Рига, 1926, № 10, с. 260.



СУМЕРНИЧАНЬЯ с 4 ч. веч.

ПРИВАЛ

КОМЕДИАНТОВ

НА МАРСОВОМ ПОЛЕ

7

Актеры, художники, поэты, музыканты и ученики высших школ платят 1 руб.

Афиша работы М. В. Добужинского. 1919 год



М. В. Добужинский. Улица Лиела Реформату. 1925 год

Похоже, что неряшливый символизм, отягченный к тому же зудящим беспокойством транзитного пассажира, был «вчттан» поспешным на обобщения современником в эти легкие и сдержанные картинки, исполненные созерцательного понимания, а не разоблачения и «морали».

В сентябре Добужинский пишет первый портрет Иды Иосифовны Вейнберг, дружба с которой стала существенной частью его последующих взаимоотношений с Ригой. Она, как и Ной Карлович Рабинович, старается помочь художнику продажей его картин богатым покупателям.

Записная книжка за ноябрь — декабрь 1925 года фиксирует труды и дни Добужинского в Риге. Ноябрь: 12 — «Мой отказ от сотрудничества в «Перезвонах». Разговор с Мишеевым», 15 — концерт в Гертрудинской церкви, 17 — портрет мадам Мишеевой, 20 — спектакль в Художественном театре и банкет, 21 — лекция Добужинского «Культ Италии в европейском искусстве» в зале ИМКА<sup>14</sup>, 22 — в кино на «Мадам Дюбарри» («ужас!» — помечает ху-

дожник, вообще придирчиво относившийся к воссозданию ушедших эпох в кинематографе), 24 — в Опере на «Анде», дирижировал Э. Купер, 25 — вечер у О. Далматовой, 26 — открытие выставки Добужинского в художественном салоне Лефлера<sup>15</sup>, вечером — у Э. Купера. 27 — был с женой Е. О. Добужинской и Н. К. Рабиновичем у Вейнберг, 29 — был в музее в Домской церкви, 30 — писал портрет г-жи Копелиович у Вейнберг, ходил в польский театр. Декабрь: 3 — предложили читать в еврейском техническом обществе доклад об эстетике и механике, 4 — «Был Мишеев. Спор о номере «Перезвонов» для меня», 9—11 — выдающаяся балерина Т. П. Карсавина гастролирует в Риге, встреча с ней в ресторане, 13 — «Вечером Карсавина, Купер и Мишеев. Наш разговор о будущем искусстве», 14 — лекция Добужинского об эстетическом начале и механической культуре. Речь в лекции шла о путях преодоления машинной культуры, о том, чтобы найти новую гармонию в элеваторах, кранах и небоскребах. «Машина есть враг индивидуального. Нужно знать силы врага, чтобы одолеть его его же оружием»<sup>16</sup>. (Как явствует из написанной на следующий день записки Мишеева к художнику, лектору был задан вопрос: «Что вы скажете о пролетарской культуре?») 19 декабря Добужинский покинул Ригу. В этот же день в газете «Сегодня» один из ее издателей Яков Брамс писал о проблемах местного балета в связи с гастролями Карсавиной: «Пока Федоровой не дадут Либерта<sup>17</sup>, нашему балету не опериться. А может, и Добужинского, у нас гостящего, дадут? Непонятно, обидно, что этого большого художника не привлекут на нашу сцену». Эти пожелания так и не осуществились никогда. Как и не пополнили городское музейное собрание картины Добужинского. 18 января 1926 года Мишеев писал Добужинскому: «В разговоре с г. Юрьяном я невольно поставил во-

<sup>15</sup> Отчет о выставке см.: Сегодня, 1925, 27 ноября.

<sup>16</sup> Ряд цитат из этого доклада см. в кн.: Мстислав Добужинский. Автор текста А. П. Гусарова. М., 1982.

<sup>17</sup> Либерт Лудольф (1895—1959) — видный латышский сценограф.

<sup>11</sup> Отчет о лекции см.: Слово, 1925, 24 ноября.



прос, почему Вы не привились в Риге. Он сказал мне буквально следующее, конечно, это между нами: «Добужинский сам виноват. Ни одна выставка так не посещалась, как его. Нигде так не было много покупателей, как у него, но, помилуйте, он своими ценами отпугнул всех! Ему с его именем так легко можно было устроиться здесь; он своими портретами такую массу клиентов нашел бы в Риге, как никто! Но что делать! Сам он был невидим, а супруга его ничего не хотела уступать. Поэтому и музей не решился покупать, а ведь были намечены картины».

На последующие четыре года связь художника с Ригой почти прервалась. Разве что Мишеев в корреспонденции из Парижа рассказал со слов Добужинского о работе над постановкой «Ревизора»<sup>18</sup>, да Н. К. Рабинович сообщал, что удалось продать картины Добужинского «местному видному еврейскому обществу»<sup>19</sup>. Деятели, у которого уже имеется одна Ваша работа „Комната Татьяны“».

Осенью 1929 года Добужинский затевает переписку с К. Юрьяном о новой выставке в музее. Но там все уже было распланировано вперед, и выставку пришлось устроить в салоне Альтберга на углу улиц Кр. Барона и Меркеля в феврале 1930 года. Добужинский приехал на вернисаж и рассказал репортеру о состоянии французского искусства и о русских художниках в эмиграции: «Совершенно изумительно по интенсивности и широте размаха исканий и достижений современная французская живопись. Сколько бы ни говорили об упадке, духе наживы, которым одержимы некоторые мастера,— не это является характерным и показательным. Куда важнее исключительно острый темп художественной работы, ее неимоверная ширь»<sup>19</sup>. Сочувственно и доброжелательно рассказывал Добужинский о творческой эволюции Ю. Анненкова, А. Яковлева, В. Шухаева.

На этой выставке были представлены и виды Риги. Один из рецензен-

тов, художник Я. Домбровскис, говоря о даре Добужинского глубоко чувствовать красоту и логику архитектурных форм, замечал: «Нужно было Добужинскому появиться в Риге, чтобы мы увидели, какие интересные и прекрасные уголки зримы в нашей столице, например «Старый город» или „Дома на набережной“»<sup>20</sup>.

После этой выставки Добужинский снова на три года расстается с Ригой. Ида Вейнберг по-прежнему пытается пристроить его работы, но удачные продажи чрезвычайно редки. Приценивался к работам Добужинского богатый и влиятельный Беньямин-младший, собиравшийся после женитьбы: обставить квартиру, но предпочел купить ковры. А в одном письме в феврале 1933 года Ида Вейнберг сообщает: «И еще один господин хотел «красивый акт» (его выражение), небольшой размер. Ему нужно для одной комнаты». Всю эту провинциальную чушь и имел в виду художник Виноградов, когда писал Добужинскому 2 марта 1934 года: «Рига, Вы сами знаете — не рынок художественный».

В 1933—1934 гг. у Добужинского появляются поводы несколько раз побывать в Риге.

<sup>20</sup> Pēdējā brīdī. 1930, 7 февраля.



Обложка работы М. В. Добужинского. Август 1925 года

<sup>18</sup> Притисский Н. [Н. И. Мишеев]. Добужинский и «Ревизор» (Письмо из Парижа). — Слово, 1928, 17 февраля.

<sup>19</sup> Сегодня, 1930, 2 февраля.

12 августа 1933 года великий русский актер Михаил Чехов написал Добужинскому из Риги: «Национальная опера поручила мне вполне официально запросить Вас, согласны ли Вы поставить в Риге (со мной) приблизительно в октябре — ноябре «Волшебную флейту» Моцарта? Директор Оперы Рейтер ждет Вашего ответа... Я привезу исправленную (искаженную) мною оперу, и если Вы согласны — с помощью Божией начнем». Добужинский стал решать декорации в «египетском» ключе — можно высказать предположение, что Египет как прародина оккультных наук был введен в моцартовский сюжет, посвященный обретению тайного знания, именно Чеховым, знатоком антропософии и эзотерических ритуалов (кстати сказать, и Добужинский с 1923 года был членом масонской ложи «Астрея»). 8—10 сентября 1933 года Добужинский в связи с подготовкой спектакля приехал в Ригу — в записной книжке отмечено: «В музее смотрел и рисовал Египет около 1 часу», «Снова в библиотеке музея. Прочитал все о Египте». Вероятно, вскоре после этой поездки Добужинский получил в Каунасе письмо от Либертса: «Все взятые мною Ваши рисунки давно уже в работе и скоро уже начнут появляться готовые костюмы... как будто идет все гладко». Однако далее пошло совсем не гладко. Через некоторое время Чехов сообщил Добужинскому, что «группы художников» подняли бунт и затеяли травлю двух приглашенных чужаков. Общественный скандал, впрочем, не состоялся<sup>21</sup>, но в октябре принято было решение спектакль отложить.

Спектакль срывался, но И. Вейнберг договорилась со знакомыми о заказах на портреты, и 28 декабря 1933 года Добужинский приехал в Ригу на неделю на заработки. 30 декабря — «рисовал мадам Янсон (2 часа!)», 1 января — «рисовал мать А. Савиной, старуху. К адвокату Эльшеву, а потом рисовал мадам толстуху», 4 января — «сделал скверный портрет мадам Каценеленбаум...» Всего в Риге в январе бы-

ло нарисовано восемь портретов, в том числе Иды Вейнберг, ее дочери Адочки, инженера Э. З. Геймансона — директора шоколадной фирмы «Гегингер», мадам Генкиной. В новогодний вечер — «С Идой гуляли по сказочному Старому городу, заходя в закоулки. Дивный зимний вечер. Говорили о чепуховской романтической мысли», накануне — в Опере, в ложе у Рейтера, «Отель „Савой“», оформление Либертса — «„гнусно, но эффектно“ и был Либертс. Прогресс — мало пестроты», 1 января — «подарил ее дяде рисунок синагоги в Вильне». Через месяц Добужинский приехал еще раз, сделал 9 портретов, заработал 480 латов. Записная книжка упоминает блины у Е. Климова на Пушкинской улице (с профессором Синайским), встречу с одноклассником Шабловским, музыкальный вечер у Вейнбергов (певицы Анна Савина, Лия Шварц и мадам Рысс — «до удивительного много хорошего»), посещение скульпторши Пенерджи («неплохо»), визит к господину Копелиовичу, где Добужинский «говорил о Петербурге, Пронине, Врубеле, Кустодиеве и всего этого не записать».

С 1 по 4 июня 1934 года Добужинский снова был в Риге, гулял по Взморью, навестил Чеховых, был в библиотеке, музее. Кстати, в бумагах Добужинского сохранился список «Любимые вещи в Рижском музее»: «Натюрморт с орехами» Хеды, два Рюисдала, «похожие на ван Гойена», «Пейзаж со скалой» Маньяско, «Св. Себастьян» Беллини и т. д. 4 июня он ездил в Елгаву с И. Вейнберг и Н. К. Рабиновичем. Там был сделан рисунок с натуры, подаренный потом Н. К. Рабиновичу.

В конце августа 1934 года Добужинский на несколько дней приехал в Ригу — в последний раз. Незадолго до этого он писал Александру Бенуа: «Рига вообще моя «форточка» и по сравнению с Каунасом художественно богаче — во всех отношениях. Я люблю этот уютнейший и местами очаровательный город. На сей раз в записной книжке отмечены «чудесный Старый город в сумерках», встреча с Чеховым, визит к Е. Климову, свидание с новым директором театра — «спросил, как насчет «Волшебной флейты», если не будут ставить, то прошу эскизы

<sup>21</sup> См.: Чехов М. Литературное наследие. Т. 1, М., 1986, с. 411.

обратно». «Флейту» не поставили, но и эскизы не вернули — часть из них по крайней мере хранится ныне в Художественном музее Латвийской ССР (они воспроизведены в этом номере журнала). И тут уместно поставить вопрос о розыске работ Добужинского, осевших в Латвии. Все-таки некоторые картины его с выставок покупали (так, И. Вейнберг сообщала художнику в 1935 году о некоей интеллигентной семье в Лиепае, которая тогда обладала семью картинами Добужинского). Иногда Добужинский делал эскизы театральных костюмов по просьбе рижан (например, для балерины Мирдзы Калныни в «Красном маке» — 1933 год). Выше были названы некоторые из лиц, с которых Добужинский писал заказные портреты. Сохранились ли они? Ведь многие из позировавших художнику пополнили контингент рижского гетто. И, наконец, виды Риги, Елгавы, амарниекские пейзажи. В этом номере они воспроизводятся по репродукциям, только несколько нераскрашенных рисунков воспроизводятся по архиву художника, хранящемуся в рукописном отделе Государственной библиотеки Литовской ССР. Надо ли объяснять, насколько важны для самопознания города беглые и точные зарисовки Риги, сделанные таким проникновенным пытателем «души города», как Добужинский?

\* \* \*

Рассказать о своих встречах с Добужинским наш журнал попросил ныне живущего в Канаде художника Е. Климова. Имя его часто встречается в рижских записных книжках Добужинского. Письма его к Добужинскому свидетельствуют о внимании мастера к начинающему графику. Например, 21 марта 1927 года Климов писал Добужинскому из Риги: «Ваше письмо меня очень обрадовало, особенно то место, где Вы говорите о живости. Мне самому стала ясной цель жизненности еще года два тому назад».

Евгений Евгеньевич Климов родился в Елгаве в 1901 году, в двадцать восемь лет окончил Академию художеств в Риге. Увлеченный рижской стариной (так, он писал об остатках архитектуры 1830-х годов на Московском форштадте, о «квартале собин-



Обложка работы М. В. Добужинского. Сентябрь 1925 года

ских и мухинских домов на Тургеневской улице, хранящей очарование тихой провинции»<sup>22</sup> Климов запечатлел в своей графике близящиеся к исчезновению фрагменты города. Его альбом литографированных видов Латвии, выпущенный издательством «Эрнст Платес» в 1937 году, вызвал похвалу Александра Бенуа: «Я не могу сделать лучшего комплимента художнику, как сравнить эти его очаровательные городские и пригородные пейзажи с аналогичными работами Добужинского и Верейского»<sup>23</sup> Климову (вместе с Ю. Г. Рыковским) принадлежит роспись храма Крестителя на улице Калну, он автор мозаики на часовне Покровского кладбища. Наконец, усилиями Климова осуществлено первое издание мемуаров Добужинского<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Наша газета, Рига, 1930, 4 мая.

<sup>23</sup> Александр Бенуа размышляет. М., 1968, с. 469.

<sup>24</sup> См. подробнее примечания Г. И. Чугунова в кн.: Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987, с. 366—367. В заключение необходимо отметить, что тема, вынесенная в заглавие настоящей статьи, впервые была поднята в статье Ингриды Корсакайте «Литва, Латвия и Эстония в творческой биографии Мстислава Добужинского» в сборнике «Искусство Прибалтики. Статьи и исследования» (Таллин, 1981).

## ДОБУЖИНСКИЙ

Разносторонность Добужинского исключительна. Мастер острого выразительного рисунка, умеющий скупыми средствами передать самое характерное в природе и архитектуре, он является в то же время чудесным иллюстратором, дополняющим текст и образом воссоздающим атмосферу описываемых событий. Большую часть своей жизни он отдал театру, особенно за последние годы пребывания за границей. Многие его ученики, ставшие известными художниками, помнят его как взыскательного и чуткого педагога. А если еще добавить, что он автор многих статей и воспоминаний, то невольно поразишься многогранности его творческого дара.

Представляя себе «магический кристалл», через который Добужинский вглядывается в окружающий его мир, можно найти в нем неизменные черты графического и линейного восприятия мира. Рисунок служит ему всегда первичным и главным моментом его творческого процесса. Вспоминаются слова самого Добужинского: «Когда я не рисую, я тоскую!» Можно также вспомнить его слова: «Творчество всегда остается и должно оставаться тайной, и процесс этот, где такую роль играет подсознательное, и самим автором редко может быть объясним».

Мстислав Валерианович Добужинский родился в Новгороде в 1875 году. Отец его — артиллерийский генерал — происходил из знатного литовского рода, мать была дочерью новгородского священника о. Софийского. Она окончила консерваторию по классу пения и стала потом оперной певицей.

Детские годы художника проходят в Петербурге, но каждое лето он навещает своих дедушку и бабушку в Новгороде. Отец особенно заботился о его образовании, читал вместе с сыном много книг, знакомил его с произведениями современных и античных писателей. Окончив гимназию, он поступает на юридический факультет Петербургского

университета и одновременно занимается в студии художника Димитриева-Кавказского. Два года проводит он в Мюнхене, где занимается в студиях художников Ашбе и Холлоши.

По возвращении на родину Добужинский принимает участие в деятельности группы «Мир Искусства», в которой состояли художники Ал. Бенуа, К. Сомов, Е. Лансерсе, А. Остроумова-Лебедева, Н. Рерих и др. Общее увлечение этой группы эпохой петербургского периода русской истории захватило и Добужинского. Он рисует виды Петербурга, где в четких и ясных формах показывает то игру силуэта чугунных решеток около Троицкого моста, то зимний вид Невского проспекта около Александринского театра с торжественно проезжающей дворцовой каретой. С юмором подмечает он пробегающую кривую конку с раздувшимися от ветра занавесками, а вдали появляется уже электрический трамвай. Он зарисовывает типичных грузчиков, извозчиков и гуляющих няnek-кормилиц. Но никогда не забывает общей стройности столицы. Привязанность Добужинского к Петербургу видна во всех его ранних работах.

Вернувшись из Мюнхена в Петербург, художник увидел столицу в ином свете и только тогда впервые осознал ее величие, но заметил и нечто другое: «... меня уколола изнанка города, его «недра» — своей совсем особенной безысходной печалью, скупой, но крайне своеобразной живописной гаммой и суровой четкостью линий. Эти спящие каналы, бесконечные заборы, глухие задние стены домов, кирпичные брандмауэры без окон, склады черных дров, пустыри... все поражало меня своими в высшей степени острыми и даже жуткими чертами. Все казалось небывало оригинальным... полным горькой поэзии и тайны».

Революция 1905 года, война 1914—1918 годов и революция 1917 года внесли в творчество Добужинского

новые черты. Там, где раньше он замечал только приятную для глаза стильную внешность, постепенно начали ему открываться другие, не столь парадные стороны жизни.

В 1922 году был издан альбом его литографий под названием «Петербург в 1921 году». Запустевшая и замиравшая столица хранила под сугробами снега печальную привлекательность. Об этом было величии одичалого города поведал Добужинский языком, полным скорби.

Почти одновременно с озаглавленным альбомом Добужинский иллюстрирует «Белые ночи» Достоевского. Не случайно именно к этому произведению, столь овеянному духом Петербурга, создал Добужинский ряд замечательных иллюстраций. Атмосфера пустынных набережных и прозрачно-таинственные петербургские белые ночи показаны были художником удивительно проникновенно и убедительно просто.

Еще во время своего дореволюционного пребывания за границей Добужинский отмечал растущую техничность современных городов, проникновение машин в нашу жизнь, обезличивание и фабричность современных «Вавилонов». Внутренняя тревога за будущее приводит Добужинского в 1920-х годах к серии работ на тему «Городские сны», где, отчасти под впечатлением писателя Уэллса, а больше по собственным переживаниям, дается выражение охвативших его дум. Воображению художника представилась удручающая картина будущих разрушенных городов, поваленные здания, чудовищные машины и краны, грандиозные лестницы, по которым безнадежно бредут люди. Предчувствие трагических событий и обреченность человеческой жизни носит здесь пророческий отпечаток.

С 1924 года начинается в жизни Добужинского период странствий. Он покидает СССР, обосновывается на короткий срок в Риге, потом едет в Литву, как потомок литовского знатного рода, а потом попадает в Париж. Во время его пребывания в Риге мне приходилось с ним встречаться и беседовать, о чем я сохраняю в своей памяти самые нежные воспоминания.

«Приходите ко мне завтра, утром,— сказала мне как-то в Риге Евгения

Георгиевна Ступина-Маклакова, энтузиаст детского воспитания по системе Монтессори,— у меня остановился проездом мой двоюродный брат — художник Добужинский, о котором вы, вероятно, слышали».

Я был тогда студентом Латвийской академии художеств; творчество Добужинского мне очень нравилось, еще юношей я собирал открытки с видами Петербурга работы Добужинского. Возможность встретиться с настоящим художником меня, конечно, очень заинтересовала, и в назначенное время я был на квартире Е. Г. Ступиной на Антониевской улице и с некоторым трепетом ждал появления Добужинского. В студию вошел высокий, статный человек. Нечто породистое чувствовалось в благородных и красивых чертах его лица. Открытый большой лоб, мягкий грудной голос, изящная улыбка — все было в нем очаровательно. Он говорил медленно, юмор в его словах был тонкий и сдержанный. Он рассказывал о немецкой графике, а в области живописи, по его мнению, Париж оставался все время впереди. Говоря о русских художниках в Париже, он утверждал, что они ближе к немцам, чем к французам. Он расспрашивал меня о методах преподавания в Латвийской академии художеств. Я был очарован общением с известным русским художником, но не знал тогда всего его значения в русской графике, не знал многого в его театральной деятельности.

Мне удавалось изредка бывать у Добужинского, беседовать с ним и спрашивать его совета по поводу моих работ. Он прожил тогда в Риге около года, работал в Камерном театре, потом уехал в Литву, но приезжал иногда в Ригу. Меня интересовал вопрос, как он любил больше работать: дома или на природе? Он отвечал: «Идеал, когда рисунок и краски взяты прямо на природе, но я не люблю, когда мне мешают и смотрят, как я работаю. Я часто делаю краткие заметки на лоскутке бумаги, а потом дома разрабатываю и с этой работой снова иду на то же место и проверяю. Хотя домашняя работа и рассудочна, но я могу после детального рисунка на природе сделать дома вполне вольный и свободный рисунок. Один и тот же

мотив может возбудить во мне то конструктивную постройку, то свободную жизнечность. Какой из этих рисунков возникнет, я сам заранее определить не могу, тут закона нет».

Я просил критиковать мои рисунки, и он очень осторожно, и весьма строго, давал ценные указания и звал к более внимательному всматриванию во все окружающее. Я чувствовал тогда некую грань, отделяющую меня от него, переступить которую я не был в силах, слишком значителен он был в моих глазах как непреложный авторитет.

Из Литвы, где он поселился, Добужинский несколько раз приезжал в Ригу, и я с ним снова встречался. В одну из этих встреч он рассказывал, что его знакомая говорила ему: вот завтра приедет одна дама, она хочет купить какую-нибудь вашу вещь, но истратит больше 500—1000 латов она не может... На эти слова Мстислав Валерианович грустно заметил: «Неужели такие случаи еще бывают?»

Печаловался он тогда на отсутствие искусства в современной жизни, на царящую всюду безвкусицу. «Жалко подумать», — говорил он, — о художнике, который пишет «пятно на стену» и этим удовлетворяет заказчика». «Встретился М. В. с писателем А. Н. Толстым, который звал его вернуться в Россию, на что М. В. ему ответил: «У вас там начальства много, а я начальство не люблю». Свободолюбивую свою черту характера М. В. сохранил до конца жизни.

Знакомая в последующие годы с творчеством Добужинского, я увидел много разнообразия в его театральной деятельности. Еще в 1909 году состоялась постановка в Московском Художественном театре пьесы «Месяц в деревне» Тургенева, декорации к которой были написаны Добужинским. Эта постановка произвела сенсацию, публика аплодировала декорациям. Затем следовало много других постановок в театрах России, Литвы и Германии. По приглашению Михаила Чехова Добужинский едет в Лондон, а затем в Нью-Йорк. Большинство поездок было связано с театральными постановками. Оперы и балеты с его декорациями разносили по всему

свету славу русского театрального искусства. Изобретательность Добужинского не знала пределов, каждая деталь была осмыслена, а все в целом приведено к определенной гармонии.

В своих воспоминаниях Добужинский признается, что работа над постановкой пьесы «Николай Ставрогин» (по роману Достоевского «Бесы») оставила в его творчестве глубокий след. «В постановке «Николая Ставрогина», — говорит художник, — я впервые как бы нашел себя... именно с того времени то, что исходило из драмы, трагедии и романтических пьес, особенно меня поднимало и возбуждало творчески... В «Бесах» был вообще перелом на моем пути художника». Внимание Добужинского стали привлекать главным образом трагические моменты жизни, и открывшаяся ему трагичность жизни направила его творчество по новому пути, углубила его и затронула такие области, которых раньше он не касался. Любование сочетанием линий и красок без внутреннего смысла не привлекало его. Его искусство трепетно и предметно зовет к постижению смысла видимого.

Но все же не одна театральная работа занимала Добужинского в последние годы его жизни. Давнишним желанием художника было создание иллюстраций к «Евгению Онегину», многие части которого он знал наизусть еще с юности. В Лондоне в 1937 году был издан на английском языке «Евгений Онегин» с рисунками Добужинского. Русское издание появилось в следующем году в Париже, а затем и в СССР. Привлекли внимание художника не столько лица героев романа, но «атмосфера» русской жизни 1820-х годов. В серии рисунков к «Онегину» один из самых сильных — это рисунок «Сцена дуэли», когда, по словам Пушкина:

Плащи бросают два врага,  
Зарецкий тридцать два шага  
Отмерил с точностью отменной,  
Друзей развел по крайний след,  
И каждый взял свой пистолет.

Силуэтность рисунка помогает острее почувствовать контраст темных фигур и белизны снега и этим

дает почувствовать трагичность события, и мы чувствуем, что должно наступить нечто роковое. Простота рисунка основана на глубоком знании природы.

Если посмотреть на все иллюстрации Добужинского к «Онегину» в целом, то преобладающим чувством в них будет печаль. Он откликнулся в «Онегине» на те чувства, которые ему самому близки, но, по существу, в «Онегине» много грусти и у самого Пушкина.

В 1951 году в Нью-Йорке издается «Слово о полку Игореве» в оформлении Добужинского. В его рисунках отразился взгляд на этот памятник древней русской литературы как на произведение трагического искусства. В рисунках нет каллиграфической изощренности, но есть подлинная сила и свобода в выражении могучих чувств, когда птицы грозно каркают, деревья гнутся под напором ветра, а в дела людей властно вмешиваются силы неба. Нечто стихийное видно в этих рисунках, в их внутренней взволнованности, при необычайной простоте выражения.

Но кроме театральных и графических работ Добужинский уделял много времени своим воспоминаниям. В письме от декабря 1956 года он пишет: «...Я только занят своими воспоминаниями, очень много написал за это время, собственно отделявал. Сокращаю, дополняю и вообще готовлю КНИГУ. Только бы кончить! Но я пишу, т.к. считаю, что это мой ДОЛГ помимо удовольствия, которое дает это погружение в прошлое...»

Но увидеть свою книгу Мстиславу Валериановичу так и не удалось. Отдельные главы его воспоминаний еще при жизни были опубликованы в «Новом Журнале». Только теперь его рукописи были полностью опубликованы в Нью-Йорке в 1976 г. и в СССР в 1987 г.

Я учился на его рисунках видеть и чувствовать окружающий меня мир, но никогда не работал непосредственно под его руководством. Тем более мне лестно прочесть в его письме ко мне: «Вы не были моим учеником, но таковым я все-таки могу Вас считать».

Из Канады я послал М. В. на отзыв альбом своих литографий, на что он

отвечал: «Мне приятно видеть в Ваших рисунках то, что можно уже назвать «школой» «Мира Искусства». . . то, что Вы стремитесь к крепкой композиции и умеете счастливо находить «точку зрения», меня радует как нечто родственное...»

К 80-летию М. В. Добужинского я поместил в прессе статью о нем. В связи с этой статьей М. В. пишет мне:

«Я очень тронут Вашим вниманием и таким редким (и дорогим мне) интересом к моему искусству. Но я вообще против юбилеев, т.к. в них есть элемент хвастовства и нескромности. . . Жизненные юбилеи, по-моему, имеют лишь тот резон, что они доказывают милость Божию («вот привел Бог дожить до таких-то лет»), и это скорее дело семейное. . . Возрасты исчисляются не по годам — есть и «старые могикане», а старость — не обязательно то же, что дряхлость, и года собственно ничего не могут говорить».

И действительно, с годами творчество Добужинского не только не слабело, но, наоборот, поражало силой выражения. Мастерство Добужинского «сгустилось», и даже маленькие заставки и концовки насытились внутренним жаром.

В последнем письме, полученном мною из Лондона в 1955 г., есть весьма значительное признание:

«Были годы, когда я охладел к Петербургу... мне стало противно, что меня провозгласили каким-то певцом Петербурга, или в этом роде, точно это меня обязывало таким оставаться. Повторяться же, как и всем в «Мире Искусства», в котором я вырос,— претило. (Теперь мне кажется, это было нашим недостатком. У меня самого дошло до того, что каждую вещь я стал делать по-иному; в моей графике и рисунке я насчитал чуть ли не 12 разных технических приемов — пример «крайнего индивидуализма»»).

Такой глубокой и сложной фигурой представляется мне теперь личность Добужинского. Его творчество всегда волнует и отвечает исконным заветам русского искусства, которое, по словам Крамского, «может исполнить роль несколько высшего порядка, чем одно украшение и забава жизни».

## Почта «Даугавы»

### И «БИ-БИ-СИ» ОШИБАЕТСЯ...

*«В мае радиостанция «Би-би-си» начала читать главы из «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург и сообщила, что полностью хроника времен культуры личности будет опубликована в белорусском журнале «Неман». Я подписался на «Неман», а «Крутой маршрут» печатает «Даугава»! Как же мне теперь быть? Помогите с седьмым номером!*

Н Блоховцев (Свердловск)»

*«Веря слухам, я подписался на «Неман». Когда же старший редактор отдела прозы «Неман» сообщил мне в письме, что слухи не оправдались и Гинзбург пойдет в «Даугаве», я бросился подписываться на «Даугаву». Но на седьмой номер уже не успевал. Высылаю вам три рубля на журнал и почтовые расходы...*

Б. М. Смелянский (г. Электроугли)»

Судя по звонкам и письмам, русская служба «Би-би-си» подвела не только Н Блоховцева и Б. М. Смелянского. Видимо, в Лондоне речку перепутали. Более близкое к источникам советское радио анонсировало публикацию точно. Кроме того, о планах «Даугавы» сообщала газета «Московские новости», а также другая отечественная пресса.

Отдел прозы

### СЛОВО О ЕЛЕНЕ МИХАЙЛОВНЕ

*«Прочла в вашем журнале мемуары Николая Заболоцкого, в которых он среди прочих имен вспоминает Е. М. Тагер. Я хорошо знала Елену Михайловну — я была ее машинисткой. Может быть, вашим читателям будут интересны некоторые подробности жизни этой «благородной и талантливой страдалницы» — так отозвался о ней К. И. Чуковский в телеграмме на ее смерть.*

*Стихи Е. М. Тагер стала писать рано и печатала их в журналах в 15—16-м годах под псевдонимом Анна Регат. В последующие годы она публиковала только прозу: сборники рассказов «Зимний берег», «Ревизоры», повести «Праздник жизни», «Желанная страна» и «Повесть об Афанасии Никитине».*

*В 1937 году умерла ее старшая дочь в возрасте 18 лет. А в 1938 году начался ее тернистый путь: арест, тюрьма, лагеря, ссылка. Все это длилось 16 лет.*

*В те страшные годы она писала: «Когда беспросветно плохо — я держусь когтями, как кошка на заборе. Стойкость у меня есть».*

*И тут же мысли о смерти:*

Железной жизни страшные вериги  
Легко, как пепел, сбрасываю я.  
Прощайте, ненаписанные книги,  
Прощайте, незнакомые друзья.

*Она работала в тайге, «на трассе», потом на заводе — на покраске тяжелых деталей. Болея, голодала, но любовь к жизни, к людям, к природе и стремление к творчеству не покидали ее.*

*В своих письмах она присылала стихи:*

Мне снился вот этот задумчивый лес.  
Хранимый щитом синеоких небес;  
Три тысячи триста печальных ночей  
Мне снился вот этот веселый ручей.

*«Я понимаю, что жизнь, великая жизнь прекрасна, что на земле неисчерпаемы запасы красоты и что наши скорби, наши муки в мировом круговороте весят не больше, чем опаленные крылья мошки, налетевшей на костер».*



В 1938 году в пересыльной тюрьме умер МАНДЕЛЬШТАМ, но Елена Михайловна узнала о смерти Осипа Эмилевича только в 1943 году. Тогда было написано стихотворение.

Нетленной мысли исповедник,  
Господней милостью певец,  
Стиха чеканного наследник,  
Последний пушкинский пленец!  
Он пел, покорный высшим силам  
Вослед горящего столпа  
Над чудачком, больным и хилым,  
Смеялась резвая толпа.  
В холодном хоре дифирамбов  
Его аккорд не прозвучал.  
Лишь Океан дыханью ямбов  
Дыханьем бури отвечал.  
Лишь он, Великий, темноводный  
Пропел последнюю хвалу  
Тому, кто был душой свободной  
Подобен ветру и орлу.  
Несокрушимей сводов храма  
Алмазный снег, сапфирный лед,  
И полюс, в память МАНДЕЛЬШТАМА,  
Сиянье северное льет

Тяжелый труд, болезни, полуголодное существование — ничто не заглушало в Елене Михайловне память и печаль о любимом поэте, о его горестной судьбе.

Лишь в 1954 году Елена Михайловна получила паспорт. Некоторое время она жила у дочери в Саратове, затем гостила у Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине. Она помогла ему в работе.

В письме она писала: «Благодаря Корнею Ивановичу я вернулась в тот творческий мир, вне которого моя жизнь была бессмысленна, себе и людям в тягость».

В 1956 году Елена Михайловна вернулась в Ленинград. Она была восстановлена в Союзе писателей. Работала над повестью «Светлана» из жизни Жуковского.

Жестокие испытания этих долгих лет не озлобили ее, она была уравновешенна и как прежде доброжелательна и остроумна.

Я часто виделась с ней. С радостью печатала я новые главы лирического повествования. Но... к сожалению, повесть не была закончена. Здоровье Елены Михайловны было основательно подорвано. И свершилось ее предвиденье:

Все равно умру в Ленинграде  
И в предсмертном моем бреду  
К Воронихинской колоннаде  
И к Исакию прибреду  
И последнему вяжу желанью.  
В неземное летя бытие,  
Всадник Медный, коснувшись дланью,  
Остановит сердце мое

Елена Михайловна Тагер умерла 14 июля 1964 года.

София Альтерман».

## МЫ ЗНАЛИ ЯЗЫК ДРУГ ДРУГА

«Главы из романа Леонида Коваля «Корни дикой груши» я прочел на одном дыхании. Нахлынули светлые воспоминания предвоенного детства и юности, прожитых в «еврейском местечке», в котором трудились простые люди — русские, украинцы, евреи, поляки, чехи. Все они жили по законам высокой порядочности и сердечности, интернационализма поступков, а не фраз.

Дружба бедных людей всегда естественна. Мы в юности знали украинский, русский, польский, еврейский языки, и многие, прежде чем ответить на вопрос о родном языке, должны были задуматься. На этих языках существовала целая сеть школ. Часто украинские дети учились в еврейской

школе, а уж наоборот — и говорить нечего. Мы устраивали интернациональные костры, участвовали в «Синей блузе», вместе ходили смотреть заезжие украинские и еврейские (их было тогда пять в УССР) театры.

Под влиянием книги Ковалея я много передумал. В том числе о безвозвратно разрушенной еврейской культуре в СССР, имевшей давние корни и богатые традиции. Кто же выиграл от этого варварства? Все это было сотворено с народом, который после победы Октября разогнулся, почувствовал себя равным среди равных, забыл о погромах и черте оседлости. С народом, который дал Родине и миру Шолом-Алейхема, Левитана, Шагала, братьев Рубинштейн, Ойстраха, Михоэлса, Бабеля, Кольцова, академиков Будкера, Векслера, Ландау, Иоффе, Вовси, полководцев Якира, Смушквича, Гамарника — и именам этим несть числа. Это лишь то, что приходит сразу на память. Кому это было нужно? Какую пользу получила страна и человечество от забвения традиций этих выдающихся людей, родившихся в России, считавших ее единственной своей родиной, защищавших ее честь в труде и на поле брани. Может быть, Вы, Леонид Иосифович, ответите на эти вопросы в одном из своих будущих произведений? Вы — один из последних логикан этой трагической темы. Спасибо Вам.

Не имею литературного образования, написал по горячим следам. Извините за сумбур. Зато искренне, от сердца.

*Лев Бергер,*  
ветеран ВОВ, член КПСС с 1942 года  
(Рига).

ПОПРАВКА:

В седьмом номере «Даугавы» по вине типографии Издательства ЦК КП Латвии неверно указан тираж. Правильная цифра — 47 000 экземпляров.

---

Авторы снимков в тексте: Лаймонис Блодниекс, Атис Иевиньш, Айвар Лиепиньш, Имантс Пределис.

На первой странице обложки: М. В. Добужинский. Эскиз к постановке «Сказки Андерсена», Рига, 1924 год. Фотонегатив.

Фото Светланы Фельчинской и Роланда Фогта

На четвертой странице обложки: Е. Е. Климов, Ю. Г. Рыковский. Роспись надальтарной части стены храма Иоанна Крестителя в Риге. 1930-е годы

Фото Роланда Фогта

---

Сдано в набор 16.06.88.

Подписано к печати 19.07.88 ЯТ 07294.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1, мелованная бумага. Листы — офсетная печать, обложка и вклейки — высокая печать. 8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 17,75 усл. кр.-отт 9,91 уч.-изд. л. Тираж 47 000.

Заказ № 758. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990.

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

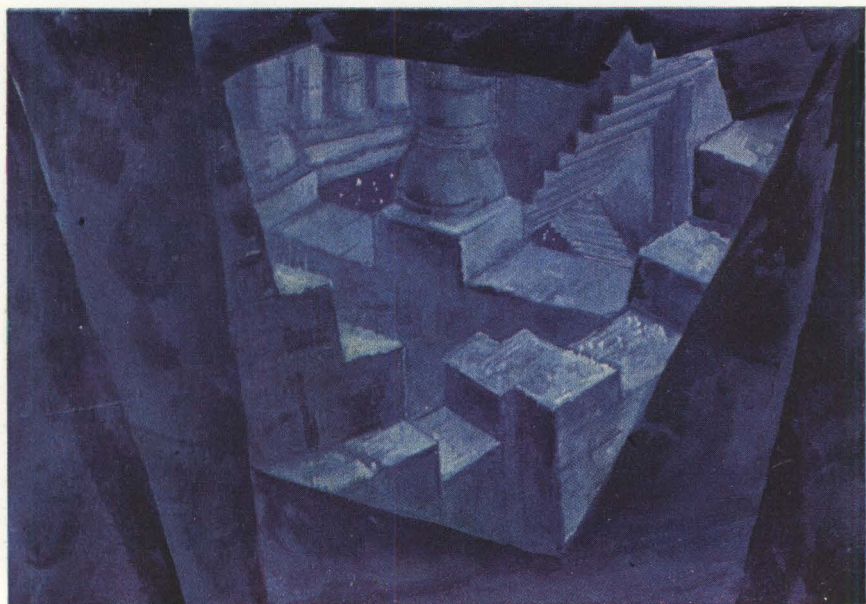
Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

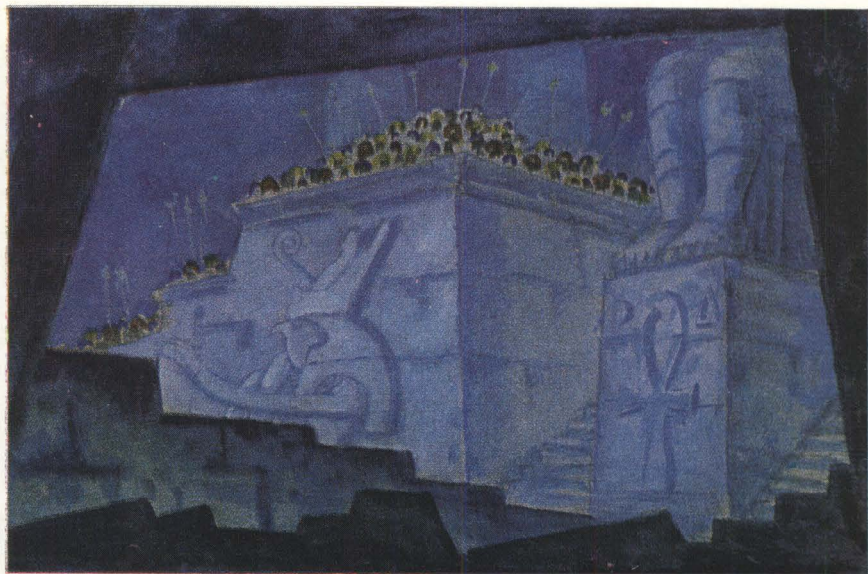


М. В. Добужинский. Уголок набережной



М. В. Добужинский. Старая Рига. Репродукция из газеты «Сегодня»,  
2 февраля 1930 года





М. В. Добужинский. Эскизы декораций к неосуществленной постановке «Волшебной флейты» Моцарта. 1933 год

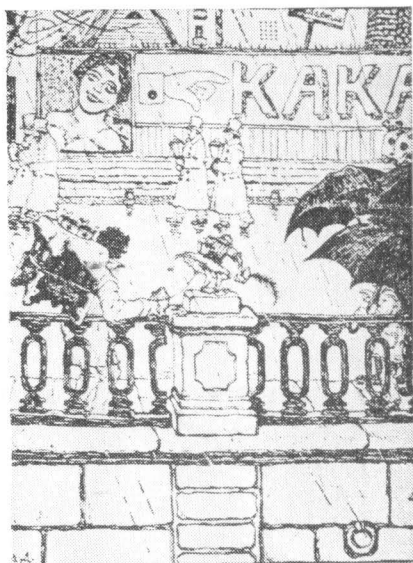


Е. Е. Климов. Мозаика на часовне Покровского кладбища в Риге. 1930-е годы.

Фото Роланда Фогта.

Мальчиком Владимир Набоков брал уроки рисования у Добужинского. Учитель заставлял его рисовать по памяти и как можно подробней тысячу раз виденные предметы: уличный фонарь, почтовый ящик, узор из тюльпанов на стекле входной двери. Вряд ли хоть один набоковед откажется от соблазна сблизить набоковское умение словесной визуализации с уроками прославленного рисовальщика. Сам художник сказал Набокову уже в сороковые годы на прогулке в вермонтском лесу, что будущий писатель был самым безнадежным из его учеников.

В апреле 1926 года в Берлине открылась выставка Добужинского, и Набоков напечатал в тамошней русской газете «Руль» стихи под заглавием, заимствованным из Горация — «Поэзия подобна живописи».



М. В. Добужинский. Гримасы города

Владимир НАБОКОВ

#### UT PICTURA POESIS

М. В. Добужинскому

Воспоминанье, острый луч,  
преобрази мое изгнанье,  
пронзи меня воспоминанье  
о баржах петербургских туч  
в небесных ветреных просторах,  
о закоулочных заборах,  
о добрых лицах фонарей...  
Я помню, над Невой моей  
бывали сумерки, как шорох  
тышущих карандашей.

Все это живописец плавный  
передо мною развернул,  
и, кажется, совсем недавно  
в лицо мне этот ветер дул,  
изображенный им в летучих  
осенних листьях, зыбких тучах,  
и плыл по набережной гул,  
во мгле колокола гудели —  
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,  
какие тумбы! Хорошо бы  
туда перешагнуть, пролезть,  
там постоять, где спят сугробы  
и плотно сложены дрова,  
или под аркой, на канале,  
где нежно в каменном овале  
синют крепость и Нева.

